

Политическая теория

Стив Фуллер

**Постправда: Знание
как борьба за власть**

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

2018

УДК 32+316.4

ББК 60.524

Фуллер С.

Постправда: Знание как борьба за власть / С. Фуллер — «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2018 — (Политическая теория)

ISBN 978-5-7598-1852-6

Хотя термин «постправда» был придуман критиками, на которых произвели впечатление брекзит и президентская кампания в США, постправда, или постистина, укоренена в самой истории западной социальной и политической теории. Стив Фуллер возвращается к Платону, рассматривает ряд проблем теологии и философии, уделяет особое внимание макиавеллистской традиции классической социологии. Ключевой фигурой выступает Вильфредо Парето, предложивший оригинальную концепцию постистины в рамках своей теории циркуляции двух типов элит — львов и лис, согласно которой львы и лисы конкурируют за власть и обвиняют друг друга в нелегитимности, ссылаясь на ложность высказываний оппонента — либо о том, что они {львы} сделали, либо о том, что они {лисы} сделают. Определяющая черта постистины — строгое различие между видимостью и реальностью, которое никогда в полной мере не устраняется, а потому самая сильная видимость выдает себя за реальность. Вопрос в том, как добиться большего выигрыша — путем быстрых изменений видимости (позиция лис) или же за счет ее стабилизации (позиция львов). Автор с разных сторон рассматривает, что все это означает для политики и науки. Книга адресована специалистам в области политологии, социологии и современной философии. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 32+316.4

ББК 60.524

ISBN 978-5-7598-1852-6

© Фуллер С., 2018
© Высшая Школа Экономики
(ВШЭ), 2018

Содержание

Благодарности	7
Введение	8
Глава 1	14
Введение	14
Антиэкспертный поворот в политике и науке	15
Как в случае брекзита антиэксперты побили экспертов в их собственной игре	19
Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота	23
Глава 2	28
История истины с точки зрения постистины	28
Рождение риторики как ключевого элемента концептуального комплекса постистины	31
Модальная власть индустрии развлечений	39
Как истина видится постистине: веритизм как «фейк-философия»	43
Консенсус: сфабрикованное согласие как регулятивный идеал науки?	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Стив Фуллер

Постправда. Знание как борьба за власть

Эта книга посвящается памяти основателя «научной истории», древнегреческого историка Фукидида, который сегодня считался бы поставщиком «фейковых новостей»

Благодарности

В числе тех людей (помимо издателя), которые безропотно ждали, пока я испытывал их терпение, когда писал различные тексты, отрабатывая аргументацию, представленную на страницах этой книги, позвольте выразить особую благодарность Джеймсу Чейзу, Джиму Коллье, Алистеру Даффу, Джоанне Данкан, Бобу Фродману, Инанне Хамати-Атайе, Джерри Хаузеру, Илье Касавину, Шерон Райдер, Микаэлю Стенмарку и Джеку Стилго. Также я хотел бы поблагодарить Британскую социологическую ассоциацию, Европейскую ассоциацию исследований науки и технологий, газету *Guardian* и Лондонский институт искусства и идей, которые опубликовали на своих веб-сайтах первые версии текстов, вошедших в эту книгу. Наконец, я хотел бы выразить благодарность за поддержку Российскому научному фонду (проект № 14-18-02227 «Социальная философия науки»), с которым я связан в качестве исследователя Института философии РАН.

Введение

Наука и политика в эпоху постистины: скрытая рука Парето

Оксфордский словарь английского языка действительно объявил постправду, или постистину¹, словом 2016 г., однако само это понятие всегда было у нас и в политике, и в науке, поскольку оно им намного ближе, чем полагают те, кто недоволен его существованием. Для того чтобы раскрыть его политические корни, длинная память не нужна. Вспомним придуманное в 2004 г. выражение «сообщество, основанное на реальности», ставшее ироническим контрапунктом к внешнеполитическому подходу, которого придерживался Джордж Буш-младший, особенно после начала войны в Ираке. Тем не менее интересно посмотреть точное словарное определение постистины, включающее также примеры узуса:

Характеризует или обозначает обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личной вере:

«в эту эпоху постистины легко отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете»;

«некоторые комментаторы отмечали, что мы живем в эпоху постистины».

Такое определение имеет очевидно негативный оттенок. Собственно, это не что иное, как постистинное определение постистины. Именно в таком свете хотят представить своих противников те, кто занимает господствующие позиции в актуальной игре знания и власти. В данном контексте слово «эмоция» само является составляющей жаргона постистины, лишь затемняющей истинную функцию этого слова, которая состоит в том, чтобы получить сравнительное преимущество на некотором более или менее четко определенном игровом поле.

Люди, более всего чувствительные к тому факту, что мы живем в мире «постистины», склонны полагать, что реальность фундаментально отличается от того, что о ней думает большинство. Это относится к обеим сторонам современного водораздела «постистины», то есть к элитарным экспертам и популистским демагогам. Обе эти позиции определяются платоновским мировоззрением, которое Никколо Макиавелли успешно демократизировал в период Ренессанса. Затем оно было модернизировано для капиталистического мира политэкономистом Вильфредо Парето (1848–1923), одним из забытых отцов-основателей социологии, в работах которого черпал вдохновение Бенито Муссолини. В годы моей молодости Парето все еще называли «Марксом правящего класса», что объяснялось уважительным отношением к нему со стороны таких либералов времен холодной войны, как Толкотт Парсонс и Раймон Арон [Parsons, 1937, ch. 5–7; Aron, 1967, ch. 2; Арон, 1992, с. 403–487]. Если и есть человек, заслуживающий звания небесного покровителя постистины, то это Парето.

С его точки зрения, социальный порядок является результатом взаимодействия элит двух типов, которых он называл, следуя в этом за Макиавелли, *львами* и *лисами*. Оба вида торгуют постистиной. Львы рассматривают общепринятое в статус-кво понимание прошлого в качестве надежного основания будущего, тогда как лисы считают, что статус-кво поддерживает порочное понимание прошлого, которое мешает достижению лучшего будущего. История, таким

¹ Термин «*post-truth*» чаще на русский переводится как «постправда», однако здесь используется вариант «постистина», более соответствующий подходу автора, ориентированному, в частности, на эпистемологию и социологию науки. – *Примеч. пер.*

образом, заключается в непрерывном обороте двух этих темпоральных ориентаций: «индуктивной» и «контриндуктивной», как сказали бы эпистемологи.

Приведенное Оксфордским словарем английского языка определение постистины выражает истину льва, который пытается задать максимальную моральную и эпистемическую дистанцию от любой эрзац-истины, которой может приторговывать лиса. Именно она, но не лев изображается в качестве того, кто искажает факты и обращается к эмоциям. Однако истина льва лисе представляется слишком уж прямолинейной и тяжеловесной, немногим более чем заявкой на неотчуждаемое право, часто предъявляемой в приступе праведного гнева. Таким образом, стратегия лисы – минимизировать моральную и эпистемическую дистанцию между своей собственной позицией и позицией оппонента-льва, обычно за счет изобличения неисполненных обещаний и статусного лицемерия последнего.

Политика постистины была в полной мере явлена в американской президентской кампании 2016 г., когда Хиллари Клинтон, занимающая позицию льва и являвшаяся, возможно, самым квалифицированным кандидатом на пост президента США за всю историю страны, назвала сторонников Дональда Трампа «кучкой жалких людей» за то, что они пытались подорвать господствующую «прогрессивную» повестку неолиберального государства всеобщего благосостояния, сформировавшуюся в период после холодной войны. В ответ лис-Трамп, говоря от лица американцев, которых эта повестка все больше игнорирует, назвал людей, отстаивающих ее, «порочными» и «продажными».

Однако Трамп имел в виду и нечто более глубокое, связанное с самой основой ситуации постистины. Этот момент промелькнул в одном лозунге его кампании: «осушить болото». Весь вашингтонский истеблишмент – не только демократы-сторонники Клинтон, но и противники Трампа в Республиканской партии, которая номинировала его в качестве кандидата на пост президента, – был обвинен в том, что он проводит договорные матчи, а потому, кого бы ни выбрать, законы, которые будут приняты, все равно окажутся на руку политическому классу независимо от их влияния на жизнь простого народа. В более львиные времена это называлось двухпартийной системой, и именно так велись государственные дела. В самом деле, социологи-апологеты такого режима превозносили его на протяжении по меньшей мере двух поколений в качестве «конца идеологии» [Bell, 1960]. Предполагалось, что это игра, которая побьет все остальные игры. Но Трамп успешно доказал, что всего лишь еще одна игра. И это, по сути, и есть зачаток ситуации постистины.

Если использовать философский жаргон, ситуация постистины сводится к тому, чтобы занять метапозицию. Вы пытаетесь выиграть, не просто играя по правилам, но и определяя само содержание правил. Лев стремится выиграть, сохранив правила в их нынешнем виде, а лиса стремится их изменить. В игре истины точка зрения льва без лишних раздумий принимается за нечто самоочевидное: противники конкурируют друг с другом в соответствии с заранее согласованными правилами, причем это первоначальное согласие определяет природу их противостояния и состояние игры в любой конкретный момент времени. В этом случае лисы могут оставаться обозленными проигравшими. В игре постистины цель в том, чтобы разгромить противника, хорошо при этом понимая, что правила игры могут поменяться. В этом случае сама природа противостояния может измениться так, что преимущество внезапно перейдет к вашему противнику. И лисы всегда играют на такую внезапную перемену.

Когда Макиавелли говорил, что успешные правители всегда используют силу экономно, он имел в виду желание сохранить игру истины. Львы не должны рычать, поскольку они могут проиграть, если им понадобится действительно подкрепить свой рык действиями, что было доказано множеством исторических примеров. Игра истины лучше всего работает, когда самозванные хранители истины ограничиваются угрозой, но не реальной демонстрацией силы. Таким образом, стратегия льва сводится к подавлению контрфактического воображения, то есть мысли о том, что все могло бы быть иначе. Именно в этом заключается применение того,

что далее я буду называть *модальной властью*. Платон опробовал нечто похожее, когда предложил ввести цензуру, чтобы художники заранее знали, что их произведения попадут под запрет, если они нарушат границы политкорректности, определяемые царем-философом. (Платона наверняка порадовали бы «правила общения», принятые в современных университетах.) Ощущавшаяся Макиавелли необходимость более прямого обсуждения этих вопросов говорит о том, что это был момент истории демократизации, а также, как я считаю, развития человеческого самосознания в более широком смысле.

Трамп поднимает ставки еще выше, когда говорит о «фейковых новостях», чем ставит под вопрос традиционные либеральные инструменты воспроизводства различия истины и лжи в американских СМИ, таких как *New York Times* или *CNN*. В этом ему существенно помогли недавно возникшие социальные сети, в которых новостные ленты ресурсов вроде *Breitbart*, основанного выступающими против истеблишмента «альтернативными правыми», сумели, в частности на страницах *Facebook*, составить конкуренцию «мейнстримным» СМИ, а в некоторых случаях и вытеснить их. (Бывший глава *Breitbart* Стив Бэннон работал главным стратегом Трампа во время кампании 2016 г. и в первый год его президентства.) В результате люди получают либо конфликтующие новостные сообщения, между которыми они сами должны сделать выбор, либо же попросту такие сообщения, которые соответствуют предпочтениям, заявленным ими в роли пользователей социальных сетей. И в том и в другом случае они становятся более уверенными в том, что способны самостоятельно разобраться в вопросах истины.

Хорошим показателем того, что люди заняли «метапозицию» в ответ на это размножение новостных ресурсов, является уровень паранойи, выплескиваемой в социальных сетях после объявления, что источником такой-то новости были, скажем, *Breitbart* или *CNN* в зависимости от того, у кого какая идеология. В конце концов, хотя зрители *CNN* терпеть не могут, когда их любимый канал обзывают «фейковым», именно такой эпитет они сами применяют к *Breitbart* и его телевизионному аналогу *Fox News*. Таким образом, игровое поле было выровнено. Все теперь играют в игру Трампа. А ее название – «зуб за зуб», и именно она составляет сегодня беспрецедентно большую долю новостей: в ответ на любую проверку на *CNN* достоверности твитов Трампа, продвигаемых на *Fox News* и приукрашиваемых там штатными комментаторами, *Fox News* привлекает внимание к тем благим делам, которыми занят Трамп и которые игнорирует *CNN*, поскольку эта компания больше занята поиском оснований для его импичмента.

Хотя мы живем в мире круглосуточных новостей, то, что я только что описал, не является вполне справедливой борьбой. В обществе, которое становится все более демократическим, запас активного внимания остается таким же ограниченным, как и ранее, однако теперь люди считают, что, если к ним на деле относятся как к простакам, это немногим лучше того, чем если бы их открыто считали идиотами. Все это играет на трамповскую сторону «метааргумента», который в конечном счете гласит, что нужно довериться способности людей самостоятельно принимать решения в вопросах истины, позволив им жить с последствиями своих решений даже тогда, когда их суждения оказались ошибочными, по крайней мере, с точки зрения их собственного благосостояния или выгод.

Обратимся теперь к науке, ситуация в которой не так уж отличается. Львы Парето получают от традиции легитимность, которая в науке основывается на экспертизе, а не на родословной или обычае. Однако, как и прежние формы легитимности, экспертиза черпает свой авторитет в кумулятивном весе межпоколенческого опыта. Именно это и имел в виду Томас Кун [Kuhn, 1970; Кун, 1977] под научной «парадигмой», набором конвенций, которые упорядочивают знание в форме определенного мировоззрения, учрежденного тем или иным основоположником, например, сэром Исааком Ньютоном или Чарлзом Дарвином. Каждая новая порция знаний освящается в таком случае «коллегиальным рецензированием».

Куновская концепция науки является «постистинной» потому, что «истина» более не арбитр легитимной власти, скорее, она маска легитимности, которую носит всякий, кто стремится к власти. Вышло так, что взгляды Куна сформировались в Гарварде в конце 1930-х годов, когда тамошний корифей Лоуренс Хендерсон не только прочел первые курсы по истории науки, но и созвал междисциплинарный «Кружок Парето», чтобы познакомить восходящих звезд университета со взглядами автора, которого он считал единственным стоящим конкурентом Карла Маркса [Barber, 1970; Fuller, 2000b, ch. 4]. Тот факт, что президент Гарварда Джеймс Брайант Конант, протеже Хендерсона и учитель Куна, войну с нацистами поддержал чуть ли не последним, но был в числе первых, предложивших применить атомную бомбу для окончания войны с Японией, указывает на то, что Парето он освоил неплохо. Конант присоединился к остальным только тогда, когда это было абсолютно необходимо (ход льва), но хватался за удачную возможность, если остальные еще сомневались (ход лисы) [Hershberg, 1993, ch. 6].

Наиболее интересная черта нарратива Куна о прогрессе науки – и не будем забывать, что он пользовался наибольшим влиянием на протяжении последних 50 лет – это то, что он называет «оруэлловским» понимание истории науки, которое должны разделять как профессиональные ученые, так и широкая публика [Kuhn, 1970, p. 167; Кун, 1977, с. 219]. Кун ссылается на роман «1984», в котором работа главного героя заключается в переписывании газет, выходявших в прошлом, чтобы казалось, что сегодняшний курс государства совпадает с тем, каким он был всегда. В такой версии истории, которая непрерывно подправляется, публика никогда не замечает никаких резких поворотов, не обнаруживает перебежчиков или ошибочных суждений, из-за наличия которых у нее могли бы возникнуть вопросы к прогрессивному нарративу государства. Вера в статус-кво сохраняется, а рекрутам внушается желание следовать его курсу. Кун утверждал, что идеи, применимые к тоталитарному «1984», распространяются также и на науку, объединяемую закланием парадигмы.

Но в том же цеху разворачивается деятельность и другой группы элит, а именно лис, к которой профессиональные историки науки, обычно не имеющие кровной заинтересованности в том, чтобы наука держалась своей официальной линии, обращаются для того, чтобы выяснить, что реально происходит за кулисами драмы, которую пытаются поставить львы. В современной политике науки лисы известны под разными именами – начиная с «вольнодумцев» и заканчивая «социальными конструктивистами» и «псевдоучеными». Для них характерны несогласие и неумность, которым находится место в мире открытости и благоприятных возможностей.

Львы научного истеблишмента поначалу отвечают лисам-диссидентам в своей среде тем, что попросту отказывают им в эпистемическом статусе, а может, и в существовании, но не занимаются их открытой критикой, которая бы велась на общем основании. Так, креационисты, климатические скептики и различные последователи нью-эйджа, какие бы сложные теории они ни развивали, не просто ошибаются, они еще и «порочны» в том смысле, который допускает разбухание эпистемической ошибки до нравственного греха. Соответственно, всякий раз, когда диссиденты заявляют, что они дают иную оценку имеющимся фактам, львы объявляют их лжецами, поскольку лисы не придерживаются ортодоксальных взглядов.

Однако такая пренебрежительная стратегия не лишена рисков, особенно когда ортодоксия сама не может достоверно установить истину, которую она издавна обещала хранить, и особенно когда подобная неуверенность сопровождается запросами на государственное финансирование, необходимое для дальнейших исследований. Добавьте к этому всевозможные трюки с подтасовыванием, заметанием следов, запутыванием и другими действиями *ad hoc*, которыми обычно приходится заниматься ортодоксии с целью показать, что она все ближе к истине. Это вместо того, чтобы выбрать более простую стратегию, которая бы состояла в решительной смене курса. Бесстрастный наблюдатель вполне может прийти к выводу, что громкий рык льва выдает лишь его неспособность разгромить претендентов, готовых заявить, что он блефует.

Лисы, со своей стороны, определяют настоящее как экстатический момент, в который решается всё, то есть как то, что древнегреческие софисты называли кайросом. Он подразумевает решительный разрыв с «прошлым», которое, как им известно, все равно дано в виде вымысла, как в романе «1984». Тогда как самозванные провидцы подают себя, подобно Галилео Галилею, в качестве тех, кто первым смог увидеть нечто такое, что было у всех на виду. Экспертные знания в таком случае представляются хранилищем подпорченных суждений, нужных лишь для того, чтобы подавлять многообещающие альтернативы тем позициям, которые уже обанкротились. С точки зрения Куна, научные лисы одерживают верх всякий раз, когда в гладком нарративе львов появляются трещины, устойчивые «аномалии», которые правящая парадигма объяснить не в состоянии.

Однако у лис есть собственная ахиллесова пята: они сильны, когда находятся в оппозиции, но сварливы, когда во власти. Самый главный оппонент Куна Карл Поппер [Popper, 1981] пытался представить эту черту в выгодном свете, вторя Льву Троцкому и называя ее «перманентной революцией» в науке. Но если игровое поле науки открыто для всех, кто желает присоединиться к этой игре, правила самой игры могут измениться до неузнаваемости. Немногие ученые отрицают сегодня необходимость расширения «научного гражданства», но точно также немногие хотели бы, чтобы оно привело к «пролетарской науке», в которой научная повестка диктуется всенародно избранными комитетами [Lescourt, 1976]. В этом отношении ученые не желают нарушать границы вроде той, перед которой стоят политики и которая отделяет парламентскую демократию от демократии всеобщего участия или же служение истинным интересам народа от служения тому, что народ сам считает своими интересами. Как мы увидим в главе 1, именно эта граница была нарушена на британском референдуме 2016 г., когда решался вопрос о выходе из Европейского союза (ЕС), или о так называемом брекзите.

На момент написания этой книги вышло более двадцати книг с термином «постистина» в названии, и все они сосредоточены на той роли, которую постистина в ее ругательном смысле, определенном Оксфордским словарем английского языка, сыграла в победах брекзита и Трампа, ставших зеркальными отражениями друг друга. Их неизменной темой являются «фейковые новости», причем толкуются они обычно в соответствии со словарным определением, то есть с явной неприязнью к победителям. Эта книга не ставит задачу стать для них конкурентом. Напротив, как уже ясно по этому введению, я считаю постистину важной чертой интеллектуальной жизни, по крайней мере на Западе. Она объединяет те вопросы политики, науки и суждения, которые традиционные авторитеты обычно считали необходимым не смешивать. Даже если Трамп вынужден будет подать в отставку или же не сможет переизбраться на пост президента, даже если брекзит в самый последний момент будет аннулирован (все это на момент написания книги остается вполне возможным), ситуация постистины никуда не денется. Имея это в виду, я хотел бы теперь изложить краткое содержание данной книги.

В главе 1 выбирается достаточно широкий эпистемологический подход к изучению брекзита, в ходе которого парламентские лисы Великобритании получили больше, чем просили, склонив общество к самостоятельному осмыслению оснований продления членства в ЕС. У британских избирателей, несмотря на неопределенность будущего, куда страна катится благодаря брекзиту и в котором пытаются лихорадочно разобраться как лисы, так и львы, вкус к прямой демократии при этом несколько не отбился.

В главе 2 показывается, что философия, то есть дисциплина, которая любит представлять себя в качестве более других озабоченной «Истиной», на протяжении всей своей истории отдавала предпочтение позиции постистины начиная с диалогов Платона, где льву-Сократу всегда удаётся перехитрить своих противников – лис-софистов. Кроме того, даже в современной «аналитической» школе, которая в англоязычном мире давно стала официальным лицом академической философии, никогда не было согласия ни относительно природы, ни относительно критериев истины, хотя, разумеется, некоторые определения истины отдают предпочте-

ние, скорее, одним модусам мысли и формам знания, чем другим. В этом отношении философия всегда оставалась и остается постистинной.

В главе 3 речь сначала пойдет о социологии, которую можно считать образцом постистинной науки с учетом ее интереса к тому, как людям удастся переопределять самих себя в меняющихся условиях. Наиболее известным примером этих изменений является переход от досовременности к миру Нового времени и, возможно, к миру постмодерна. К сожалению, исследования науки и технологий, составляющие передний край социологии знания, в последние годы отrekliсь от своей первоначальной подписи под ситуацией постистины, хотя и сохранили за собой наилучшую позицию для прояснения сходства с игрой как неотъемлемого качества науки.

В главе 4 ставится диагноз неспособности науки полностью использовать даже собственную базу знания. Эта неспособность объясняется той властью, которой дисциплины, или «парадигмы» (в смысле Куна), обладают над исследователями. Такие социальные формации успешно ограничивают академическую энергию общепринятыми направлениями исследования. К счастью, не все люди, получившие академическое образование, и не все заинтересованные стороны приписаны к академии. Точнее, можно говорить о существовании, как я это называю, «военно-промышленной воли к знанию», которая нацелена на то, что в библиотековедении получило название «нераскрытое публичное знание». Глава заканчивается размышлением об «избыточности информации» как о более общем культурном контексте, в котором возникает проблема нераскрытого публичного знания.

В главе 5 рассматривается постистинностный феномен «кастомизированной науки», состоящий в нестандартных интерпретациях или применениях научного знания, которые в той или иной мере противоречат авторитету экспертов-ученых. Это естественное ответвление того мира, в котором наука все больше считается чем-то важным для жизни людей, тогда как источники информации о науке более не ограничиваются научной лабораторией и университетской аудиторией. Результатом становится то, что я назвал «протнаукой», поскольку теперь люди понимают науку по-своему, примерно в том же смысле, в каком в период протестантской Реформации они стали понимать по-своему Библию.

Глава 6 начинается со знаменитых лекций Макса Вебера о политике и науке как о призвании, причем доказывается, что предметом политики и науки является одна и та же тема, хотя политика носит маску ситуации постистины, а наука – ситуации истины. Грубо говоря, ученые стремятся определить правила игры, которые политики хотели бы изменить себе на пользу. Это как нельзя более яркий пример борьбы за «модальную власть», то есть контроля над тем, что возможно. Написание и переписывание истории – это, пожалуй, и есть то поле, на котором данная борьба разворачивается в наиболее наглядном виде.

В главе 7 книга завершается обсуждением эпистемологии будущего, то есть прогнозирования, выступающего наиболее передовым игровым полем воображения постистины. Вопрос не столько в том, как правильно предсказывать будущее, сколько в том, как выжать максимум из любого поворота событий. С учетом сказанного история показала, что игроки, начинавшие в качестве проигрывающих, могут в итоге закончить победителями просто потому, что они лучше пользуются актуальной ситуацией, даже если она возникла из серьезной неудачи. В этой главе дается обзор нескольких возможных установок по отношению к будущему, наиболее известной из которых являются «адаптивные предпочтения» и их политический коррелят – «форсированное правление», рекомендуемое не избегать катастрофы, а планировать исходя из того, что она случится, поскольку планы могут увенчаться успехом даже в том случае, если Судного дня удалось избежать. Именно благодаря такому подходу появился Интернет, изобретенный во время холодной войны.

Глава 1

Брекзит: политическая экспертиза в столкновении с волей народа

Введение

Для начала я должен сказать, что был бы счастлив, если бы можно было вернуться к начальной точке того пути, который выбрала Великобритания, когда 23 июня 2016 г. 52% голосов «за» и 48% «против» она приняла судьбоносное решение по выходу из Евросоюза после более 40 лет членства в этой организации (так называемый брексит). Меня устроил бы любой вариант, который позволил бы вернуть Великобританию в ЕС: парламентское голосование, новые выборы в парламент, второй референдум – что угодно. Но предположим, что брексит неминуем. Моя позиция в таком случае состоит в том, что мы должны внимательнее – и благожелательнее – исследовать то, что, собственно, планировали достичь некоторые из наиболее смелых сторонников брексита. Однако это не так просто, как может показаться, поскольку их позиция представляет собой странную амальгаму популизма и элитизма, которые в таком сочетании угрожают не только суверенности парламента, о чем много писали СМИ, но также авторитету экспертной оценки, понимаемой в достаточно широком смысле. Таковы пути лисицы, если говорить в категориях Парето. Здесь стоит вспомнить о том, что практически все институты Британской академии, ведущие деловые организации, включая Банк Англии, а также политики из разных стран мира, решившие выразить свое мнение по этому вопросу, хотели бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС. (Заметным исключением стала Россия.)

Однако, как мы увидим, брексит оказался для его сторонников отравленной чашей, поскольку они не предугадали того, что общество посчитает свой вновь обретенный голос чем-то вроде своих собственных, публично явленных экспертных знаний. Свое рассуждение я разобью здесь на три части. Сначала я рассмотрю брексит в контексте давно применяемого мною антиэкспертного подхода к социальной эпистемологии, который во многих отношениях роднит меня со сторонниками брексита. Затем я обращусь к борьбе парламентских элит, которая со временем привела к победе брексита, и сфокусируюсь на особой эпистемической и этической стратегии его сторонников в их отношении к общественному мнению. Наконец, я рассмотрю непредвиденное формирование в контексте брексита «общей воли» в духе Руссо, в рамках которой британская демократия выступает за предвидимое будущее, а в заключении поговорю о роли научных кругов – и особенно бизнес-школ – в антиэкспертной революции.

Антиэкспертный поворот в политике и науке

Тема экспертизы близка моему сердцу, поскольку версия «социальной эпистемологии», разрабатываемая мною на протяжении последних 30 лет, отличалась своей «деконструктивистской» и «демистифицирующей» установкой по отношению к экспертизе, которую я первоначально называл «когнитивным авторитаризмом» [Fuller, 1988, ch. 2]. Будучи философом науки, который стал «социальным конструктивистом» в годы, когда складывалось поле, ныне известное под названием «исследования наук и технологий» (*STS*), от своих коллег-философов я отличался тем, что видел в дисциплинарных границах, благодаря которым институализируются экспертные знания, всего лишь необходимое зло по сравнению со свободным исследованием: и зло было тем больше, чем больше необходимо оно было [Fuller, Collier, 2004, ch. 2]. В этом контексте я занимал сторону Карла Поппера, а не Томаса Куна: первый говорил, что ни одно притязание на научное знание не является неопровержимым, а второй – что наука зависит от редкого опровержения своих притязаний на знание [Fuller, 2003a].

Когда примерно 20 лет назад я занялся проблемой «управления знаниями», меня поразила двусмысленность предлагавшейся экономикой трактовки роли знаний в создании богатства. С одной стороны, знание представлялось магическим «фактором X» производства, обычно называемым инновациями, которые несводимы к доступным эпистемическим и материальным ресурсам. С другой стороны, существует знание как «экспертиза», то есть определенная форма *поиска ренты*, которая структурируется необходимостью приобретения документально заверенной квалификации, предваряющей доступ к тому, что уже известно [McKenzie, Tullock, 2012, part 5]. Это опять же спор Поппера и Куна. С точки зрения динамичной капиталистической экономики инновации играют очевидно положительную роль не в последнюю очередь потому, что они «созидательно разрушают» рынки, что является функциональным эквивалентом смены парадигм в науке. Экспертиза же рассматривается в негативном ключе – как основной источник возникновения узких мест в потоках информации. В те времена я полагал, что появление «экспертных систем», в которых компьютеры программируются так, чтобы воспроизводить обычные рассуждения экспертов, могло бы в конечном счете устранить подобные узкие места, сняв потребность в наличии экспертов-людей, в том числе в таких относительно высокооплачиваемых, но рутинных областях, как право и медицина. Эта цель по-прежнему остается важной [Fuller, 2002, ch. 3].

Позже я вплотную занялся будущим университета, все более «исследовательского», что, по-видимому, является эвфемистическим обозначением роли этого института в производстве и сертификации экспертизы. Я же, соответственно, призывал к тому сдвигу в миссии университета от исследования обратно к преподаванию, который исторически как раз и стал важнейшим фактором в разрушении иерархий или узких мест, где расцветает экспертиза [Fuller, 2016a]. В этом контексте преподавание следует понимать в качестве регулярной доставки знаний тем, кто в ином случае пребывал бы в невежестве в силу собственной удаленности от каналов, по которым такое знание обычно распространяется. Конечно, подобное нивелирование эпистемического авторитета позволяет большему числу людей «владеть» знаниями, ранее являвшимися экспертными, в том резонансном смысле, которым сегодня обладают «владение» и «собственность». Но в то же время оно устраняет то стабилизирующее влияние, которое в прошлом экспертное знание оказывало на социальный порядок, поскольку более широкий круг людей может применять сегодня то же самое знание в более широком спектре ситуаций.

Вероятно, эта коллективная эпистемическая волатильность усилилась в наши дни в результате развития Интернета как основного социального средства приобретения знаний. Как 500 лет назад протестанты-реформаторы воспользовались появлением печатного станка, чтобы подорвать авторитет Римско-католической церкви, призвав верующих читать Библию само-

стоятельно, точно так же различные активисты от политики и науки, борющиеся с истеблишментом, призвали своих последователей не доверять экспертам и судить о приводимых свидетельствах самостоятельно.

Я никогда не видел большой разницы между эпистемологиями политики и науки. И в этом я ближе к Карлу Попперу, чем к Макс Веберу, если говорить о двух мыслителях, у которых в иных взглядах много общих черт. Будучи активным участником одного из главных антиэкспертных научных движений нашего времени, а именно сторонников *теории разумного замысла*, я усматриваю в нем некоторые поразительные сходства с брекзитом. Теория разумного замысла – это такая форма научного креационизма, которая строится на представлении о том, что жизнь слишком сложна, чтобы быть продуктом не наделенной разумом изменчивости и отбора, как они понимаются в дарвиновской теории эволюции [Fuller, 2007a; Fuller, 2008].

Первое – и, возможно, наиболее важное – сходство в том, что для экспертов уже присутствовала институциональная уязвимость, позволившая бросить вызов экспертам. В случае разумного замысла она была встроена в американскую конституцию, поскольку образовательная политика отдана на откуп местным налогоплательщикам, за счет которых финансируется школьная система. Первоначально идея была в том, чтобы не допустить господства в сфере образования секулярного аналога официальной церкви или же «национальной религии». В этом контексте академические органы действуют в качестве самое большее консультантов или лоббистов, заинтересованных в составлении определенных учебных программ и закупке учебников, за которые в конечном счете отвечают местные школьные округа. В случае же брекзита уязвимость определялась правом парламента объявить референдум и сделать предметом прямого всенародного голосования то, что в противном случае было бы лишь вопросом частного нормативного акта. За всю долгую историю парламента это право использовалось им очень редко. Более того, в отличие от США, где референдумы обычно проводятся в ряде штатов для решения таких вопросов, как ставки налогообложения, по которым у граждан уже должны иметься относительно хорошо сформулированные мнения, Великобритания проводила референдум по довольно эзотерическим, высоким материям государственного управления, таким как пропорциональное представительство и, разумеется, членство страны в ЕС.

Конечно, теория разумного замысла погорела на собственной активности в американских судах, поскольку там регулярно признается, что это криптохристианский заговор, нацеленный на свержение секулярной демократии. Однако практически ничто не подтверждает, что громкие судебные поражения послужили укреплению веры широкой публики в эволюцию, не говоря уже об общественном доверии научному истеблишменту, поддерживающему эту теорию. Вместо этого мы видим подозрения и даже паранойю по поводу того, что государственным органам дано задание разгромить диссидентов, придерживающихся христианских ценностей.

Действительно, если бы эволюция стала в США предметом общенационального референдума, она могла бы проиграть примерно с таким же результатом, как в случае брекзита, – 52% за отказ от нее и 48% против. Трамп, выступив в несколько неожиданном стиле, сумел воспользоваться такими настроениями на своем пути в Белый дом. Похожим образом даже после триумфа брекзита на голосовании наблюдается общий скепсис относительно того, что брекзит будет реализован в соответствии с принципами кампании референдума, учитывая, что Палата общин и Палата лордов проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС (80% членов первой проголосовали «за», 20% – «против», во второй – 85% «за», 15% «против»). И хотя в результате общих выборов 2017 г. число депутатов Палаты общин – сторонников брекзита увеличилось, парламентарии в целом хотят сохранить как можно больше существующих связей ЕС и Великобритании вопреки тому, что вроде бы хотело общество, а именно переопределения места Британии в мире. Разумный вывод из этого такой: плохо это или хорошо, но общество боится риска намного меньше, чем его выборные представители.

Другой важный фактор в антиэкспертном «восстании», общий для теории разумного замысла и брексита, в том, что истеблишмент сам допускает наличие проблем, считая, однако, что их можно решить в рамках статус-кво. Теория разумного замысла преодолевает ранние формы креационизма именно потому, что она не только выступает за альтернативное основание объяснения природы жизни (такое как «разумный дизайнер», известный также как авраамическое божество), но также подчеркивает проблемы, уже выделенные эволюционистами в качестве проблем их собственной теории. Точно так же премьер-министр Дэвид Кэмерон начал свою кампанию – возможно, фатальную – за сохранение членства Британии в ЕС, признав его недостатки, наглядным примером которых стал неэффективный саммит в Брюсселе в феврале 2016 г., но при этом утверждая, что их не удастся исправить, если Великобритания покинет ЕС и не сможет реформировать его изнутри.

Со временем эта идея вылилась в то, что сторонники брексита назвали «проектом страха», а именно в общее предчувствие бедствий, которые якобы воследуют для Великобритании, если она выйдет из «всегда уже» порочного ЕС. Подобным образом, когда поддержка теории разумного замысла усилилась, научный истеблишмент стал делать упор на то, что эта теория подомнет под себя всю науку, а может, и цивилизацию, если ее начнут изучать в школе. И опять же в обоих этих случаях общество оказалось намного более склонным к риску, чем эксперты. В то же время эксперты, признавая с самого начала недостатки, непреднамеренно позволили обществу взять инициативу в свои руки.

В этом пункте мы сталкиваемся с одним из устойчивых стереотипов, распространяемых защитниками экспертного знания, которые утверждают, что антиэксперты – это антиинтеллектуалы, ставящие невежество выше знания и считающие все мнения равно обоснованными. Подобная попытка дезориентации попросту прикрывает обратную тенденцию, а именно то, что в современных демократиях наша вера в экспертов привела к моральному отуплению населения, побуждая людей отдавать другим, специально уполномоченным людям – начиная, возможно, с врача общей практики – право решать за них, во что верить, даже когда последствия таких решений прямо влияют на их жизнь и чувство идентичности. Собственно, современная демократия являет собой своего рода парадокс. Мы предоставляем все большему числу людей право участвовать в политической системе, обеспечивая их к тому же образованием, необходимым для ориентации в ней, и в то же время отвращаем их от высказывания собственного суждения, поскольку все большую нормативную роль приобретает экспертиза. В результате мы возвращаем культуру интеллектуального пиетета, своего рода мягкий авторитаризм, а образование в итоге начинает функционировать вопреки просвещенческим принципам. Люди, вместо того чтобы учиться распространению своей власти на самих себя и мир в целом, учатся лишь тому, как распознавать и соблюдать границы этой власти.

Здесь не хватает именно того, к чему желает подтолкнуть антиэкспертная позиция брексита, а именно этики разумного риска, которая бы в полной мере признавала сложность мира, требующего различных форм знания, каждая из которых всегда остается частичной и подверженной ошибкам. Кроме того, учитывая общую невероятность достижения совершенного результата, демократия должна стремиться принимать такие решения, за которые те, к кому эти решения применяются, хотели и могли бы брать на себя личную ответственность при любых последствиях. Говоря в категориях Канта, любое законодательство должно стремиться к тому, чтобы быть самозаконодательством. Если же сказать то же самое в несколько более практических терминах, устранение различия между знаниями парламентария и общества о вопросах общественного блага должно стать целью электоральной политики.

Это умонастроение я связывал с *проактивным* подходом – выступающим противоположностью подхода, основанного на принципе *предосторожности*, – к принятию решений о будущем состоянии человечества [Fuller, Lipinska, 2014]. Конечно, в современных демократиях избирателям нужно объяснять, как работает этот подход, ведь часто они спешат наказать

политиков, которые не могут выполнить обещания, за что, однако, избиратели должны винить лишь самих себя. Интересно, что избиратели, проголосовавшие за брекзит, пока не были замечены за таким стратегическим дистанцированием от собственных решений. На самом деле, как мы увидим, они страдают от противоположной проблемы: общество настаивало на том, чтобы политики продолжили «исполнять» волю народа в случае брекзита, какой бы непродуманной, противоречивой или потенциально опасной ни была подобная программа действий.

Как в случае брекзита антиэксперты побили экспертов в их собственной игре

Есть определенная ирония в том, что брекзит запустил современную антиэкспертную революцию, если учесть, что он стал результатом референдума, который сам по себе был исходом борьбы между парламентскими элитами, развернувшейся внутри одной и той же правящей партии. Однако эта ситуация показалась бы вполне знакомой Парето, который, как мы отметили во «Введении», считал, что кровь в обществе перегоняется циркуляцией элит, которых он на манер Макиавелли поделил на львов и лис.

В случае референдума по брекзиту львы были представлены теми, кто желал остаться в ЕС, включая премьер-министра от Консервативной партии Кэмерона, который, словно по велению злого рока, объявил референдум, чтобы оттеснить лис, представленных двумя членами его кабинета министров и возможными претендентами на лидерство, а именно министром юстиции Майклом Гоувом и министром без портфеля Борисом Джонсоном². Если проводить анализ этого противостояния в более британском ключе, его можно было бы начать со знаменитой проблемы «двух культур», которую Ч.П. Сноу впервые сформулировал в 1956 г., когда с возникновением послевоенного государства всеобщего благосостояния бразды правления перешли от «гуманитариев» к «ученым» (включая специалистов по социальным наукам, особенно экономистов и практически ориентированных социологов). В этом отношении брекзит явил собой ироничную месть «гуманитариев», если учесть филологическое образование Гоува и Джонсона, которое ни тот, ни другой не скрывали.

Если говорить в категориях концепции «двух культур» Сноу, в референдуме по брекзиту соответствующее разделение проходило между теми («гуманитариями»), кто пытался получить власть, создав словесные картины гораздо лучшего мира, который можно достичь, расставшись с ЕС, и теми («учеными»), кто размахивал статистикой, согласно которой благодаря членству в ЕС люди уже жили в достаточно хорошем мире. Следовательно, пока лисы Гроув и Джонсон нагнетали страсти в своих колонках в *Times* и *Telegraph*, лев Кэмерон опирался на трезвые экономические аргументы и прогнозы, подкрепляемые данными Банка Англии. На этом этапе культурной войны по Сноу риторы в конечном счете победили технократов.

Конечно, последовавшие события не вполне соответствовали плану антиэкспертов: ни Гоув, ни Джонсон не заняли должность премьер-министра³, а Консервативная партия после общих выборов 2017 г. потеряла много мест в парламенте. Однако стоит подумать о том, как сторонники брекзита смогли перехитрить своих противников, подойдя к демократии с несколько иной – эпистемологической, а может быть, даже и с этической – точки зрения.

Стандартные исследования общественного мнения, например, большинство устных опросов и анкетирований, предполагают создание репрезентативной выборки населения, оцениваемого по таким предположительно значимым параметрам, как раса, класс, гендер, возраст и т.д. Респондентам задают ряд вопросов, в том числе об их вероятном голосовании на предполагаемых выборах. Хотя этот подход кажется абсолютно честным и демократичным, он может оказаться жертвой многочисленных эффектов взаимодействия исследователей и респондентов, в том числе таких, которые проистекают из социальной дистанции, ощущаемой между исследователями и респондентами и способной повлиять на откровенность последних. Так, в недавней лавине псефологических (то есть относящихся к предсказанию поведения избирателей) ошибок, начиная с брекзита и заканчивая Трампом, выявилась обычная недооценка

² Борис Джонсон был не министром без портфеля, а мэром Лондона и по этой должности имел право участвовать в заседании кабинета министров. – *Примеч. ред.*

³ Книга была опубликована в 2018 г. Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра в июле 2019 г. – *Примеч. ред.*

«популистской» стороны спора. Отчасти такая недооценка была обусловлена тем, что респонденты не считали удобным в полной мере раскрывать свои мысли, с учетом того, как они представляли себе мысли исследователя. Другими словами, несмотря на методологическую тщательность при подготовке опросов и определении целевых групп населения, респонденты представляют себе ситуацию опроса в качестве задачи произвести наилучшее впечатление на постороннего человека, который выносит о них суждение. Точность их слов, возможно, вообще не представляется им первоочередной целью, а это приводит к тому, что исследователь начинает интерпретировать их ответы неверно.

Антиэкспертная линия брексита и кампании в его поддержку смогли разглядеть эту проблему, а потому выбрали совершенно иной путь, оказавшийся не только более эффективным, но также, возможно, более демократичным и справедливым по отношению к людям, которые участвовали в процессе. Прежде всего антиэксперты не считают общество чем-то радикально отличным от исследователя общественного мнения, как если бы первое представлялось носителем «установок», а второй служил чем-то вроде нейтрального экрана на манер психоаналитика, дающего пациенту возможность спустить свое бессознательное с привязи. Напротив, антиэксперты являются социальными конструктивистами, которые вполне учитывают сфабрикованный характер псефологического знания.

Более того, классическое самопонимание исследователей общественного мнения как нейтральных экранов более не работает, поскольку общество уже почти целый век живет с устными опросами и анкетами. С одной стороны, работа, проводимая такими инструментами, стала настолько привычной, что ее возможные эффекты, заключающиеся в социальном дистанцировании, легко заметить даже «непрофессиональной» публике; с другой стороны, общество привыкло и к чаще всего задаваемым вопросам, и к различным формам влияния, обычно оказываемого опросами на результат, в котором заинтересован исследователь. Короче говоря, общество в силу накопленного опыта опросов пришло к пониманию тех недостатков, которые маркетологи давно уже связали с опорой на «объявленные», а не на «выявленные» предпочтения в попытках предсказать потребительское поведение.

Кроме того, с точки зрения антиэкспертов, псефологическое знание не просто фабрикуется, оно также обладает мягкой принудительной силой, поскольку опросы и анкеты предлагают респондентам более широкий спектр вариантов, чем они сами могли представить. Исследователю общественного мнения редко приходит в голову мысль о том, что ответы респондентов, возможно, в большей степени связаны не с обнаружением скрытых психологических склонностей, а просто с выработкой поведения, которое представляется адекватным заданному вопросу. Чтобы избежать подобных проблем, антиэксперты стали отдавать предпочтение техникам, которые в большей степени определяются методами психологической войны, а не обычного исследования общественного мнения. В частности, основанная Робертом Мерсером, магнатом из Кремниевой долины и давним сторонником Трампа, *Cambridge Analytica*, англо-американская компания, занимающаяся анализом данных, привлекла к себе внимание, поскольку, как утверждается, сделала для брексита и выборов Трампа в США больше, чем все то, что могли устроить русские хакеры [Cadwalladr, 2017].

Компания, занятая анализом данных, классифицирует целевую аудиторию по многим параметрам, основанным на предпочтениях, выявленных на основе ряда источников, включая данные переписи населения, потребительские покупки и электоральное поведение в прошлом. Все это анализируется при помощи самых современных компьютерных технологий с использованием клиентской информации, в рутинном порядке собираемой социальными сетями вроде *Facebook*. На этой основе, даже формально не взаимодействуя с респондентами, можно спрогнозировать, как проголосует по данному вопросу основная, а может, даже почти вся, аудитория, если вопрос, который вынесен на голосование, разделяет ее по существующим линиям предпочтений. Конечно, иногда определенные сегменты аудитории могут продемонстрировать

предпочтения, которые играют в пользу и той, и другой стороны вопроса. Исследователи общественного мнения называют таких людей «неопределившимися избирателями», а в случае такого весьма обширного вопроса, как брекзит, природа «неопределенности» сама «не определена», поскольку зависит от того, как именно формулируется вопрос. Брексит – благодатная почва для такого подхода, поскольку роль Великобритании в ЕС является предметом довольно широкого спектра политических вопросов, причем у избирателей обычно нет четко сформулированного представления о том, как это влияет на их жизнь.

Задача стратега кампании в таком случае состоит в том, чтобы поставить вопрос – в данном случае брекзит – так, чтобы вакантными в соответствующей ситуации неопределенности оставалось достаточно ограниченное число избирателей и кампания могла, таким образом, оставаться сфокусированной. Иначе говоря, худший сценарий – тот, в котором вопрос ставится так, что вынуждает слишком многих избирателей переосмыслить свои предпочтения с нуля, это могло бы произойти, если бы сторонники брекзита сосредоточились первым делом на политической коррупции и разбазаривании ресурсов в ЕС. Хотя вся кампания могла бы тогда приобрести более выраженный оттенок «протестантской реформации», результат мог бы оказаться отданным на волю случая, поскольку то же обвинение можно предъявить и британскому парламенту с учетом недавнего скандала о растратах, с которым он оказался связан. Поэтому слоганами кампании стали строго определенные пункты, такие как «350 миллионов фунтов стерлингов в неделю на Национальную службу здравоохранения», поскольку они, как в данном примере, создавали впечатление взаимозаменяемости финансирования ЕС и обеспечения национальной системы здравоохранения, особенно в период бюджетной экономии. Хотя конкретно эта цифра и ее обоснование во время кампании были опровергнуты, они заставили нужных людей, то есть целевых неопределившихся избирателей, живо представить себе соотношение интересов ЕС и Великобритании.

Интересно, что Кэрол Кадвалладр [Cadwalladr, 2017] и другие авторы рассказывают об антиэкспертном применении анализа данных в формате сенсационного публичного доклада, однако основные игроки, предположительно разоблаченные, продолжают действовать так, словно скрывать им было нечего. И то, что их критики готовы признать «бесстыдством», на самом деле представляется их риторической визитной карточкой. Но действительно ли антиэкспертам надо чего-то стыдиться? В нашей ситуации постистины ответ будет отрицательным, причем по двум причинам, одна из которых относительно техническая, а другая – философская.

Во-первых, отличительная черта подобных передовых подходов к анализу данных в том, что они не принуждают людей формулировать какие-либо предпочтения. Наоборот, «неинвазивные методы» фиксируют любые предпочтения, какие только были продемонстрированы избирателями в своем поведении. Самое большее, в чем можно обвинить этот подход, – это в «подталкивании» избирателей в направлении, к которому они и так уже склонялись. В любом случае только сами избиратели могут решить, что именно делать с теми или иными политическими призывами, которые они встречают в новостных лентах. В конце концов, как уже отмечалось выше, за почти столетие, прошедшее с момента появления маркетинга и исследований общественного мнения, люди привыкли к их воздействию, распространившемуся на самые разные медиа. Поэтому представление, что люди не осознают наличия подобного рода эффектов, даже если и ведут себя в соответствии с ними, свидетельствует о покровительственном отношении к ним. Это не значит, что нет определенных возможностей повысить «медиаграмотность» общества, но для этого каждый должен применять метод проб и ошибок, как и при любом ином профессиональном обучении, особенно учитывая быстрые изменения в медиаландшафте.

Кроме того, такой экспериментальный подход к общественному мнению согласуется, если не доказано обратного, с представлением Поппера о демократии как об «открытом

обществе», которое сводится к превращению общества в живую лабораторию. Антиэксперты желают ускорить этот процесс, учитывая те возросшие возможности генерации данных, наблюдения и получения обратной связи, которые открываются в результате использования передовых компьютерных технологий. Итоговый социальный порядок представляет собой то, что один из ведущих футурологов современности – Параг Ханна [Khanna, 2017] называет «прямой технократией». С точки зрения ее сторонников в лагере «жесткого», или «чистого», брексита, будущее Великобритании представляется своего рода «Швейцарией», сочетающим лучшие черты Швейцарии и Сингапура на глобальной арене. С точки же зрения разоблачителей, видящих в прямой технократии дистопию, последняя сводится к методам реалити-шоу, примененным к политике, то есть к чему-то среднему между «Заводным апельсином» и «Шоу Трумана» [Kane, 2016].

Но на более глубинном эпистемологическом уровне ужас, который не скрывает Кадвалдр [Cadwaladr, 2017], представляет собой симптом неспособности признать, что даже до высокотехнологичных махинаций с брекзитом «факты» уже существовали в состоянии заковыченности, причем не только в политике, но и в науке. Мы видим это практически каждый день в спорах о значении предположительно «твердых данных» по инфляции, безработице, государственным расходам, налоговым поступлениям, уровням дохода, активности фондового рынка и торговой выручке. Во всех этих вопросах не вполне ясно, обладает ли Джозеф Стиглиц, нобелевский лауреат и бывший главный экономист Всемирного банка, каким-либо риторическим преимуществом перед политическим аналитиком, который дает цифрам откровенно политически ангажированное толкование.

Это относительно ровное игровое поле говорит не об отсутствии уважения к авторитету науки, а лишь о признании того, что научные факты являются «твердыми» только в контексте академически определенных игр «проверки гипотез», в категориях которых спорщики могут придать вес своим аргументам или, наоборот, потерять его. За пределами этого контекста подобные «факты» работают в качестве пустых ячеек, возможно, даже метафор, для желаемого направления политического курса. Важнее не то, какие именно приводятся точные цифры, а то, что они ведут в верном направлении. Так, сторонники брексита спят спокойно, хотя британское правительство вряд ли будет тратить на Национальную службу здравоохранения «350 миллионов фунтов стерлингов в неделю», ведь (что, собственно, и заявляют эти сторонники) избиратели в конечном счете хотят лишь того, чтобы на нее регулярно тратилась более значительная сумма. Подобным образом и экономисты Банка Англии, которые ошиблись в своем предсказании того, что вскоре после голосования по брекзиту британскую экономику ждет коллапс, по-прежнему считают, что были правы, поскольку в последующий период действительно наблюдалось заметное ослабление экономического роста. То есть каждая сторона продолжает думать, что владеет истиной, тогда как противник критикуется за то, что притворяется «фейковыми фактами».

Как антиэксперты в игре брекзита в конечном счете забили гол в свои ворота

Ложка дегтя состоит в том, что люди, ставшие предметом только что описанного анализа данных, судя по всему, не разделяют ее попперианскую экспериментальную установку. Именно этот момент волнует теперь антиэкспертов – и должен волновать всех нас. Опиравшиеся на анализ данных стратеги, которые поддержали брекзит, полагали, что они обошли эту проблему, работая преимущественно с выявленными, а не заявленными предпочтениями, то есть обошли любую маскировку респондентов, которая могла бы представить их бóльшими сторонниками ЕС, чем они были на самом деле. Однако сторонники брекзита не предсказали того, что люди настолько сильно идентифицируются с результатом референдума, что повернуть вспять будет сложно. Когда же это случилось, аргументом, наиболее убедительным для тех, кто голосовал за брекзит, оказался, видимо, тот, что не имел никакого отношения к конкретным политическим обещаниям. Если бы дело было в них, можно было бы заметить, что поддержка брекзита спала, когда выяснилось, что исполнить обещания невозможно, по крайней мере, теми относительно дешевыми способами, которые были предложены во время кампании. Тогда мог бы пробудиться интерес к отмене парламентом принятого решения по брекзиту, если не к новому референдуму. Но теперь, когда мы вступаем во второй год переговоров по брекзиту⁴, наблюдается очень мало признаков подобного развития событий. Это говорит о том, что на самом деле брекзит удалось продать благодаря тому, что в нем увидели возвращение *народного суверенитета*, понимаемого в качестве самостоятельного блага независимо от его реального применения и последствий для тех людей, которым его всучили. В действительности в политике была стерта граница между мышлением и бытием.

Здесь стоит отдать должное большому преимуществу парламентской демократии: поскольку члены парламента официально являются «представителями народа», обычно у них есть определенное риторическое пространство, позволяющее интерпретировать «общественное благо» по-разному в свете меняющихся обстоятельств, не предполагая при этом, что концепция общественного блага, имеющаяся у самого народа, является хоть в чем-то ошибочной. Действительно, члены парламента готовы стать козлами отпущения в случае провала того или иного политического курса, поскольку регулярные выборы дают населению возможность обвинить их и заменить, в то время как ему не нужно брать на себя личную ответственность за положение страны. Имеющий юридически обязывающий характер референдум подобную удобную уловку устраняет, ведь в этом случае люди лично выносят коллективное решение относительно собственной судьбы.

Ирония в том, что настроенные против ЕС элиты, которые благоволили проведению референдума в основном потому, что стремились превратить Британию в испытательный полигон для новых торговых соглашений и других экономических схем (это так называемый «жесткий», или «чистый», брекзит), на самом деле умудрились разбудить в обществе вкус к тому, что Жан-Жак Руссо называл «общей волей». Это выражение, ставшее одним из лозунгов Французской революции, постулирует безошибочную непогрешимость коллектива, который связан общими ценностями и общим опытом. Противоположное понятие, а именно «агрегированная воля» – это своего рода фальшивый идеал, который Жан-Жак Руссо мог бы приписать ЕС, особенно если смотреть на него с точки зрения его критиков, ведь в нем предпочтения разрозненных партий просто суммируются в процессе выработки политических решений. С

⁴ Уже после выхода книги Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 г. в 23:00 по лондонскому времени, но при этом оставалась до конца года частью единого экономического пространства. За это время Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества. – *Примеч. ред.*

точки зрения Руссо, коллективная воля связывается с безошибочной непогрешимостью благодаря общему чувству идентичности, которое реализуется на практике, когда многие действуют заодно: не соглашаться со мной значит в таком случае уже не просто бросать вызов моему личному мнению, от которого я могу отказаться, скорее, это значит бросать вызов самому моему ощущению того, кто я такой, то есть в данном случае мне как «британцу». Стоит напомнить, что общая черта сторонников и Консервативной, и Лейбористской партий, которые поддержали брекзит, заключалась в сильном ощущении угрозы национальной идентичности, которая может исходить как от иностранных мигрантов, так и от либеральных космополитов [Johnson, 2017].

Понимание сторонниками брекзита того, что их работа оборвалась, было продемонстрировано в недавнем диалоге в Twitter, о котором сообщил юридический комментатор *Financial Times* Дэвид Аллен Грин, ведущий блог под именем Джека Кентского [Green, 2017]. Собеседником Грина был один из самых «бесстыжих» антиэкспертов – Доминик Каммингс, который впервые получил известность в качестве специального советника Майкла Гоува, когда тот был министром образования Великобритании, а потом стал главным стратегом успешной кампании в поддержку брекзита, одним из руководителей которой был и Гоув. Когда Грин спросил Каммингса, считает ли он спустя год после голосования по выходу из ЕС, что британский народ при брекзите станет счастливее, Каммингс ответил, что правительственная стратегия должна заключаться теперь в максимизации «адаптивности» Британии к широкому спектру возможных будущих, каждое из которых обладает собственной формой счастья. На практике это означает, что потенциальные выгоды от выхода из ЕС должны превозноситься, тогда как издержки – затушевываться, даже если выгоды не могут полностью компенсировать издержки, если понимать издержки так, как они понимались в день референдума.

Проверкой для этой стратегии стало предложение о том, что после брекзита Великобритания должна стать открытой для любых договоров по свободной торговле с любыми странами, которые она не могла бы заключить, если бы осталась в ЕС. Очевидную потерю заметного объема торговли с Европой, который напрямую не компенсировался бы торговлей с другими странами мира, можно было бы тогда изобразить в качестве «инвестиции» в долгосрочную концепцию Британии как великой мировой державы, наиболее открытой к торговле с любыми странами. Конечно, такая «инвестиция» по-разному повлияет на разные группы населения, поэтому необходимо не только справедливо распределять издержки, но и соответствующим образом приспособлять описание этих издержек, чтобы люди не думали, что их жизнь будет слишком долго оставаться столь жалкой. В любом случае цель по-прежнему в том, чтобы ограждать людей от необходимости признать, что они изначально приняли неверное решение. Но действительно ли необходим этот достаточно хитрый и, вероятно, довольно манипулятивный подход, который заключается просто в сохранении иллюзии безошибочности общей воли?

Подобный подход стал бы доказательством того, что голосование за брекзит было ошибкой. Такое доказательство должно выполняться в два этапа. Во-первых, бывший премьер-министр Кэмерон, который сразу после голосования подал в отставку, должен был признать, что объявил референдум в основном для того, чтобы решить давний внутренний спор в правящей Консервативной партии, разлагающее воздействие которого питало электоральные успехи Партии независимости Великобритании. В то время эта стратегия представлялась Кэмерону вполне реалистичной, поскольку он уже успел провести два референдума: один по независимости Шотландии, а другой по альтернативной схеме голосования, и в обоих одержал победу, что позволило оттеснить противников. Однако Кэмерон недооценил легкость, с которой ЕС можно превратить в козла отпущения за произвольное количество проблем, которые давили на общественное сознание, а потому брекзит стал выглядеть решением-панaceей. Это подводит нас ко второму и определенно более сложному этапу, на котором следовало бы сказать избирателям: мало того, что их подставили, заставив проголосовать по партийной

повестке, так они еще и умудрились принять неправильное решение. На этом этапе вопрос о том, было общество введено в заблуждение или нет, становится гипотетическим. Факт остается фактом: девять из десяти регионов Великобритании, которым наиболее выгодно финансирование, поступающее от ЕС, проголосовали за брекзит. Суровый вердикт, гласящий, что это ситуация «пчелы против меда», в этих обстоятельствах не выглядит столь уж необоснованным.

Вопрос, соответственно, в том, сможет ли парламентская демократия Великобритании пережить это двойное признание в ошибке. По-видимому, никто, если не считать бывшего лорда-канцлера тори Кена Кларка, который ныне является парламентарием с самым долгим сроком службы⁵, и лидера либеральных демократов Винса Кейбла⁶, не желает проверить это на практике. Возможно, нежелание политиков всех партий признать ошибку связано с отсутствием в Великобритании писаной конституции. Собственно, беспечности, с которой был проведен референдум столь большого национального значения, как брекзит, мог бы отвечать другой референдум, служащий решительному ограничению полномочий самого парламента, признай он, что голосование по брекзиту было чудовищной ошибкой. В конечном счете, антиэкспертные элиты, представляемые Гоувом и Джонсоном, которые смогли побить Кэмерона в его собственной игре, не смогли понять, что граждане могут воспринять объявление референдума в том смысле, будто они сами обладают собственными экспертными знаниями.

Следует вспомнить о том, что в первой трети XX в. такие сторонники управляемого экспертами массового общества, как Уолтер Липпман [Lippmann, 1922; Липпман, 2004] и Альфред Шютц [Schutz, 1946; Шютц, 2003], были обеспокоены все более чувственным характером новых медиа, когда печать дополнялась, но не заменялась звуком и видеоизображением. По их мнению, такой характер мог привести к приобретению людьми своего рода «псевдоопыта», заставляющего их думать, что они знают больше, чем на самом деле, просто получив возможность заявить, будто «видели» или «слышали» определенные вещи в эфире, а те, в свою очередь, впоследствии смешиваются с их реальным личным опытом, порождая то, что люди считают политически значимыми суждениями. И правда, «эксперт» – этимологически сокращение от слова «опытный» (*experienced*). Первоначально «экспертами» были люди, которые могли доказать в суде, что ранее они были свидетелями определенной закономерности в поведении, которая значима для принятия решения по рассматриваемому делу [Fuller, 2002, ch. 3]. Также предполагалось, что значение, связываемое с этим опытом, является «надежным», причем в двойном смысле, то есть «повторяемым» и «заслуживающим доверия». Этим уже подрабатывали вопросы образования и аккредитации, которые превратили «экспертизу» в эпистемический регион с высокой рентой, тогда как значение того, что, собственно, испытывалось в «опыте», оказалось в этом смысле *одновременно* непроверяемым и ограниченным.

Итоговая картина, отстаиваемая Липпманом, Шютцем и другими авторами, говорила о том, что социальный порядок в сложных демократиях требует «распределения знаний» или «разделения когнитивного труда». Такое предложение, по сути, порождает феодальную модель, скрытую за картографическими образами, которые по-прежнему заставляют представителей академии называть свои экспертные знания «полями» или «сферами» знания, разграниченными ритуалами взаимоуважения и доверия. Британская парламентская политика тоже в значительной степени опирается на эту модель, которая породила класс «профессиональных политиков», выборных представителей народа, но не делегатов, чей этос служения обществу возвращается с молодых ногтей в независимых школах, которые британцы по традиции называют общественными. Конечно, антиэксперты официально против этой модели, несмотря на то что они сами укоренены в этих элитистских умонастроениях. Однако они заодно со сторонни-

⁵ Звание старейшего члена Палаты общин (*Father of the House*) Кеннет Кларк носил с 2017 г. по ноябрь 2019 г., когда оставил пост члена Палаты. – *Примеч. ред.*

⁶ Винс Кейбл сложил полномочия лидера либеральных демократов в июле 2019 г., а на выборах в ноябре 2019 г. не стал баллотироваться в Палату общин. – *Примеч. ред.*

ками экспертизы в том, что у них в конечном счете один враг – руссоистское представление о том, что толпы являются носителями особой мудрости, особенно когда они приняли решение о плане действий, даже если остается совершенно неясным, как его осуществить и какими могут быть результаты. Исторически подобный разрыв между волей и знанием часто создавался демагогией, когда фигура диктатора начинала олицетворять публично заявленное устремление. Хотя Великобритания вряд ли свернет на дорожку демагогии, следующие несколько месяцев и лет в жизни страны станут крайне интересным, но при этом очень рискованным экспериментом в области демократии, который многому научит мир, каким бы ни был конечный результат.

Хотя антиэкспертная революция развивалась не вполне по плану, она остается вектором судорожного прогресса демократии. Более того, академия – также один из пунктов повестки этой революции. Моя собственная антипатия к экспертизе подпитывалась идеей Йозефа Шумпетера о предпринимательских инновациях как о «созидательном разрушении». По меньшей мере, начиная со своей работы 2003 г. [Fuller, 2003a] я доказывал, что университету необходимо следовать установкам Шумпетера, чтобы главным в нем перестали считаться узкие места, создаваемые им в потоке знаний за счет распределений квалификаций и других форм «системы фильтрации», которые скептическому взору представляются поиском ренты. (Вспомним о корнях этого термина – *gatekeeping* – в практике установления средневековых пошлин.) В этом смысле я призывал университет вернуться к своей просвещенческой миссии и перестать отдавать предпочтение исследовательской деятельности, которая, видимо, составляет основу для поиска ренты путем закрепления прав первенства в научной литературе и в патентном бюро. Способность академии противодействовать экспертизации находит выражение в учебной аудитории, поскольку преподавание дает доступ к знаниям тем, кто в ином случае не мог бы приобрести их, не став частью контекста, в котором такие знания производятся и распределяются. Таким образом, университеты производят знания в качестве общественного блага путем созидательного разрушения социального капитала, сформированного исследовательскими сетями. И это их единственное коммерческое преимущество [Fuller, 2009; 2016a].

У бизнес-школ, возможно, уникальное положение, позволяющее им выполнять эту функцию. Преподавательский состав в них обычно прошел обучение за пределами академического поля бизнес-обучения, а в том случае, если бизнес-школа вообще на что-то годится, большинство людей, которые обучаются у таких преподавателей, и сами не останутся в этом академическом поле. Если какая-то часть университета и заслуживает права нести светоч антиэкспертности, то это именно бизнес-школы. В самом деле, если бы мне пришлось собирать философский факультет, я бы набрал на него людей, которые не получили профессионального образования, но которым было бы дано право обучать студентов, по большей части планирующих в будущем работать за пределами такого поля. Иными словами, он был бы похож на современную бизнес-школу. Подобный факультет мог бы даже добиться такого же успеха, что и бизнес-школы, если бы следовал этой организационной модели. Однако мой довод состоит в пригодности такой модели для философии как дисциплины, а не в ее точной финансовой результативности. «Философия», как и слово «бизнес», в таком случае должна была означать прежде всего «форум», или рынок (в греческом языке это одно и то же слово – *agora*), где люди, которые за его пределами были друг для друга чужими, обладали бы свободным пространством для обмена притязаниями на знание, предположительно выгодного всем сторонам, целью которого является, возможно, достижение целого, большего суммы своих частей. В принципе, такое пространство может быть где угодно, однако учебная аудитория могла бы стать образцовым пространством для подобного рода трансакций. Основная цель этого упражнения состояла бы в порождении общего чувства гуманизма.

Конечно, сделка в такой ситуации не вполне симметрична. Ничего нельзя продать, пока нет чего-то на продажу, а потому и академики должны сначала выйти с предложением, пытаться

убедить будущих студентов в том, что есть что-то такое, что им нужно знать. На более абстрактном уровне такой начальный гамбит подкрепляет идею бремени доказательства, то есть нормативное основание, на котором стоит любой аргумент в реальной жизни: если я утверждаю, что вам чего-то недостает, моя задача – доказать это. Из этого следует, что я должен обладать определенными востребованными товарами. Это демонстрируется тем, что именно студенты берут из предложенного академическими учеными. Опираясь на Адама Смита, экономист Дейдра Макклоски [McCloskey, 1982; Макклоски, 2015] доказывала подобие, если не тождество, обмена идеями и обмена товарами, который она связывает (по-моему, вполне обоснованно) с искусством риторики. В этом случае то, что считается «каноном» западной философии, может пониматься в качестве знания такого рода, что производится в соответствии с подобным духом спроса и предложения. На страницах канонических произведений читатель найдет множество реальных и воображаемых транзакций, которые либо проводились, либо даже были доведены до результата. Диалоги Платона – лишь наиболее очевидный пример такого рода, который, возможно, объясняет, почему каноны всегда начинаются с него, а остальная философия представляет собой «сноски» к нему, по крайней мере, по мнению Альфреда Норта Уайтхеда, который на самом деле не был большим поклонником Платона. В любом случае для создания подобного «канонического» эффекта можно было бы выбрать работы, отличные от ныне почитаемых, и в будущем они, возможно, и правда будут выбраны.

Глава 2

Что о ситуации постистины может рассказать философия

История истины с точки зрения постистины

Философы утверждают, что ищут истину, но на самом деле это не так уж очевидно. Их можно также считать наиболее опытными экспертами по миру постистины. Они видят в «истине» то, чем она и правда является, а именно название бренда, вечно нуждающегося в продукте, который купит каждый. Это помогает объяснить, почему философы увереннее всего апеллируют к «Истине», когда пытаются убедить нефилософов, например, в судах или учебных аудиториях. Говоря на профессиональном жаргоне, «истина» вместе с понятиями, ей родственными, «по существу своему спорна» [Gallie, 1956]. Другими словами, философы расходятся не только во мнениях о том, какие пропозиции являются истинными или ложными, но и, что еще важнее, о том, что значит утверждать, что нечто является истинным или ложным.

Если мое замечание кажется вам слишком жестким или циничным, рассмотрим «карьеру» ключевых философских категорий, позволяющих обмениваться притязаниями на знание. Не последние в числе таких категорий – «свидетельства» (*evidence*) и собственно «истина». Свидетельства – удобный отправной пункт для разговора, поскольку он прямо ведет к популярному образу нашего мира постистины как мира «после фактов», понимаемого в качестве злонамеренного отрицания прочных, хотя, возможно, и не неопровержимых, свидетельств, независимость которых устанавливает пределы того, что можно с тем или иным основанием утверждать о мире.

Но только в раннее Новое время философы начали проводить различие между чисто фактической концепцией свидетельств и личным признанием или же свидетельством авторитета. Этот разрыв стал очевидным лишь в середине XIX в., когда свидетельства, опирающиеся на мнение людей, в книгах по логике стали регулярно относить к «неформальным ошибкам», если только у таких людей не было «прямого знакомства» с рассматриваемым вопросом [Hamblin, 1970]. Само понятие «эксперт», являющееся юридическим изобретением конца XIX в. и представляющее собой сокращение от слова «*experienced*» («опытный»), позволило расширить идею «прямого знакомства» так, чтобы включить людей с определенным образованием, благодаря которому у них есть право на основе своего опыта делать индуктивные обобщения, относящиеся к рассматриваемому в данный момент вопросу. Таким образом, недавно попавший под запрет «аргумент от авторитета» вернулся через заднюю дверь [Turner, 2003].

Это постепенное оформление понятия свидетельства стало частью более общего процесса секуляризации знаний. В то же время было бы ошибкой считать, что современное понятие было создано специально для научного исследования. Скорее, оно выступало переложением процедуры инквизиции, использовавшейся в Европе для выявления еретиков и ведьм. В Англию эту процедуру импортировал Фрэнсис Бэкон, юрист короля Якова I, считавший, что природа сама скрывается от закона, слишком долго пряча свои секреты от человечества. Поэтому нужны были особые суды, которые бы заставили природу расстаться с ее обычной двусмысленностью и выбрать между двумя взаимоисключающими ответами [Fuller, 2017].

Бэкон называл такие судебные расследования *Experimentum crucis* (решающим опытом), а Карл Поппер тремя столетиями позже превратил их в золотой стандарт научного метода. Конечно, у Бэкона и Поппера не было никаких иллюзий насчет того, что факты, произведенные, как мы сказали бы сегодня, в условиях «чрезвычайной выдачи», могут быть выражены

ями природы в более спокойных обстоятельствах. Напротив, Поппер дошел до того, что стал называть факты конвенциями, имея в виду удобные промежуточные остановки на бесконечном пути инквизиции природы. В конце концов, опыты считались решающими именно потому, что их результаты позволяли ускорить получение будущих знаний, которые в противном случае раскрывались бы – независимо от того, хорошо это или плохо – по графику самой природы, а потому у человечества было мало возможностей запланировать ответ, не говоря уже о том, чтобы направить движение природы на благо человечества.

Что касается «истины» («*truth*»), то само слово восходит к староанглийскому «*troth*», в котором уже заложены все философские сложности, присущие этому понятию. «*Troth*» означает верность, но чему именно – *источнику* или *предмету*?

Первоначально «истина» в этом смысле означала верность источнику. То есть речь шла о лояльности инстанции, уполномочивающей того, кто высказывает истину, и такой инстанцией могли выступать как христианское божество, так и римский военачальник. В этом контексте верность связывалась с выполнением того или иного плана, будь то план мироздания или сражения. Человек действовал в рамках *истины*, выполняя намерение силы, предоставившей ему полномочия, независимо от того, как именно оно выполнялось и с каким результатом. Именно этот смысл «истины» позволил иезуитам, католическому контрреформаторскому ордену, основанному испанским офицером Игнатием Лойолой, исполнять промысел Божий, действуя на основе принципа «цель оправдывает средства».

Однако благодаря другому католику, Фоме Аквинскому, истину в современный ему период стали считать верностью предмету, а именно эмпирическим объектам, уже попавшим в поле игры. Его собственное латинское выражение – *adequatio ad rem*, неточно переводящееся как «соответствие вещи», отражает расхолаживающий характер этой концепции, которая по-прежнему в чести у философов, называющих ее «корреспондентной теорией истины». Фома Аквинский, писавший в конце XIII в., в период массового распространения ереси, утверждал, что мир, как он дан нам в обычных условиях, достаточно близок к божественному плану, а потому верующий должен перестать пытаться угадывать намерения Бога и вместо этого сосредоточиться на прояснении эмпирических деталей Творения. Сегодня Фома Аквинский является официальным философом церкви, надежным ориентиром для приспособления науки к вере.

Эти противоположные тенденции, заключенные в понятии истины, – то есть ориентация на источник или на предмет – сохранились и в наши дни. Ньютон, который, как известно, во втором издании своей «*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*» провозгласил «*Hypotheses non fingo*» («гипотез не измышляю»), на самом деле просто успокаивал подозрительных религиозных читателей, боявшихся того, что он, возможно, пытается проникнуть в «Разум Бога», а не просто предлагает ясное описание порядка природы. Конечно, учитывая объемные теологические сочинения Ньютона, при жизни не публиковавшиеся, он и в самом деле стремился разгадать намерения божества, в которое верил. Он стремился к источнику, а не просто к предмету всякого знания. Если принять это в расчет, можно увидеть иронию в том, что такой патентованный «атеист», как физик Стивен Хокинг, преемник Ньютона на посту главы кафедры математики в Кембридже, умудрился сделать ставку на «Разум Бога» как основную метафору в своей классической научно-популярной «Краткой истории времени». Ньютон и Хокинг различаются не только содержанием своей деятельности, но также уровнем самосознания. Ньютон намеренно скрывал то, от чего ко временам Хокинга формально отреклись, а может, и вообще давно позабыли.

Философом, позволяющим сориентироваться в этой порой несколько сюрреалистической интеллектуальной среде постистины, выступает Ганс Файхингер (1852–1933) – человек, на котором лежит ответственность за превращение Иммануила Канта в оплот академических исследований, поскольку именно он основал в 1896 г. журнал *Kant Studien*. Файхингер разрабо-

тал также определенное мировоззрение на основе часто употреблявшегося у Канта выражения «*als ob*» («как если бы»). В значительной степени нормативная сила философии Канта происходит из такого мышления и действия, «как если бы» определенные вещи были истинными, даже если вы, возможно, никогда не сможете доказать их и даже если они могут оказаться ложными. Файхингер [Vaihinger, 1924] назвал появившееся таким образом мировоззрение фидуциализмом, и именно оно выражает кульминацию постистины как особой чувствительности. С точки зрения Файхингера, философия представляется наиболее постистинностным полем из всех существующих.

Идею Файхингера полезно рассмотреть с точки зрения общеизвестного раскола современной философии на «аналитическую» и «континентальную». Аналитики обвиняют континенталов в том, что те переняли у Фридриха Ницше все его дурные привычки. Результатом стала традиция дурных рассуждений, ложных филологических изысканий, эксцентричных историй, обскурантизма и гипербола. Вот уж действительно целый букет преступлений против истины, но интересно, что наиболее важным и устойчивым вкладом аналитической философии считаются несколько мысленных экспериментов, по сути, попросту плодов воображения (таких, как «мозги в бочке» Хилари Патнема или «китайская комната» Джона Серла), которые, однако, выдаются за героические абстракции, полученные на основе некоей гипотетической реальности. Остальная часть аналитической философии представляет собой, по сути, всего лишь схоластические препирательства по поводу точной формулировки этих мысленных экспериментов и выводов, которые из них позволительно сделать. Иногда, впрочем, такие препирательства оживляются моментами сильнейшего негодования, а также демонстрацией невежества, узкокобия и предубеждения по отношению к другим, как правило, «континентальным» или «постмодернистским», способам рассуждения.

Файхингер мог бы помочь нам в понимании того, что происходит сегодня. Наш подход к миру он разделил на *вымыслы* и *гипотезы*. В вымысле вы не знаете, что живете в ложном мире, тогда как в гипотезе знаете, что не живете в ложном мире. В обоих случаях «истинный мир» не обладает никаким определенным эпистемическим статусом. Напротив, вы предполагаете «ложный мир» и в своем рассуждении исходите из него. С этой точки зрения континентальные философы – это поставщики вымыслов, а аналитические – гипотез. То, что в быту мы называем реальностью, колеблется между двумя этими полюсами, никогда на самом деле не приближаясь к какому-то надежному смыслу истины. Вымыслы нужно представлять в качестве того, что существует в диапазоне от драм до законов («юридических фикций»), а гипотезы – в диапазоне от сочинений Евклида и до того, что ученые проверяют в лабораториях, или же того, что делают люди, когда планируют будущее.

Значит ли это, что истина – понятие попросту избыточное? На это как раз и указывает «избыточная теория истины», предложенная логиком Фрэнком Рамсеем. Кроме того, теории истины, которые наследуют ей, но называются по-разному – «дефляционная», «дисквотационная», «экспрессивная» или даже «гоноративная» (если вспомнить интерпретацию Джона Дьюи у Ричарда Рорти), – тоже могут быть добавлены к постистинностному репертуару аналитической философии [Naack, 1978, ch. 7]. Но «на самом деле» (если так можно выразиться), Файхингер бы сказал – и я с ним согласен, – что истина оказывается всем тем, что определяется судьей, полномочным в рассматриваемом деле. Другими словами, Бэкон в конечном счете был прав, а это, возможно, объясняет, почему Кант посвятил ему «Критику чистого разума». Но о каких именно полномочиях мы здесь говорим? В следующем разделе, который посвящен философским началам всего концептуального комплекса постистины, я сосредоточусь на идее *модальной власти*, которая включает контроль над тем, что считают возможным другие люди. Когда Отто фон Бисмарк заявил, что политика – это искусство возможного, он тем самым признал открытие Платоном того, что всякая власть сводится к модальной власти.

Рождение риторики как ключевого элемента концептуального комплекса постистины

Различие философии и риторики как областей академического исследования в период Нового времени все больше институционализировалось. На самом деле это еще слабо сказано. В это время судьба философии радикально разошлась с судьбой риторики. Философия стала чрезвычайно серьезной дисциплиной, посвященной Истине, тогда как риторику стали считать в лучшем случае служанкой Истины, которая изображалась то простым украшательством, то откровенной диверсией. Во многих отношениях именно такого результата и хотел добиться Платон. Более того, существует отдельный промысел, которым занимаются исследователи, гадающие, как Платон – в лице многочисленных сократов, говорящих его голосом, – смог повернуть этот трюк в борьбе с софистами, торговцами постистиной в Афинах IV в. до н.э. Софисты, скорее, желали, чтобы различие между философией и риторикой вообще не проводилось. И должно быть ясно, что в этом споре я на их стороне.

Вопреки общепринятому мнению исследователей, размышлявших об этих вопросах, я полагаю, что Платон и софисты расходились друг с другом не столько в том, что можно считать хорошей «диалектической» (то есть философской или риторической) практикой, сколько в том, каким должен быть доступ к ней – свободным или ограниченным. Действительно, я хотел бы, чтобы мы видели и в Платоне, и в софистах торговцев постистиной, которые при конструировании истины больше озабочены сочетанием удачи и умения, чем истиной как таковой. Обращая особое внимание на враждебность Платона к драматургам, я буду доказывать, что ставкой является не что иное, как контроль над «модальной властью», которая в конечном счете определяет сферу возможного в обществе. Закончу я коротким обсуждением проблематики связей с общественностью как современной версии примерно той же истории.

Около 25 лет назад Эдвард Скьяппа и Джон Пулакос вступили в довольно специфический спор об истоках риторики, который в итоге выплеснулся в ряд книг и журнальных статей [Schiappa, 1990a; 1990b; Poulakos, 1990]. Специфика этого спора определялась тем, что он вроде бы был завязан на чисто формальный вопрос, который Скьяппа проработал чрезвычайно подробно, а именно вопрос о том, что «риторика» как имя существительное вообще не существовала до тех пор, пока Платон не изобрел ее в «Горгии». Но ставкой спора было нечто большее, что вполне понимал Пулакос: речь шла о возможности отрицания самостоятельной, сознающей себя риторической традиции, которая не была бы подчинена традиции философской. Такое откровенно антиплатоновское понимание риторики давно отождествлялось с «софистами», учителями словесных искусств, которые в сократических диалогах в основном играют роль фона. Однако даже защитники софистической чести были вынуждены признать, что само представление о том, что эти учителя разделяли какое-то общее мировоззрение, в значительной степени определяется тем, что своего общего врага они нашли в лице Сократа. В самом деле, Скьяппа обвинил Пулакоса и других защитников софистов в том, что они стали жертвами риторики самого Платона, поскольку довольно разношерстную группу персонажей они рассматривали так, словно они составляют единую школу мысли. Более того, Скьяппа также, видимо, считал, что внимательное исследование исходного словоупотребления у Платона показывает, что в целом оно предвосхищало отказ аналитической философии от «риторики» как от чего-то ненужного, обманчивого и ошибочного.

В контексте этого спора я склонен согласиться с вердиктом Пулакоса, заявившим, что внимание Скьяппы к букве греческого текста не позволяет ему понять дух греков. Однако я не так уверен в положительных утверждениях самого Пулакоса, который отстаивал независимость софистической традиции. В конце концов, Сократ и его противники-софисты у Платона не так уж различаются в той власти, которая есть у них над *логосом*. Собственно, это, веро-

ятно, и есть причина, по которой они готовы считать друг друга ровнями в диалоге, что существенно отличается от эпистемического авторитета, которым они пользуются у своих фанатов или клиентов. Однако, помимо тех или иных доктрин, которые могли, а может, и не могли быть у них общими, в софистах как группе Платона раздражало, что они продавали свои диалектические навыки любому, кто был готов платить, независимо от того, действительно ли этот человек нуждался в таких навыках. Ранее я уже указывал на то, что стиль софистов, возможно, предвосхитил маркетинг в современном смысле предложения товаров, которые увековечивают спрос на самих себя, поскольку важнейшим коммерческим свойством риторических услуг софистов было именно то, что их покупатель получал конкурентное преимущество по определению временное, а потому всегда нуждающееся в пополнении (ср. с «пожизненным образованием»). Это существенно расходилось с тем взглядом на рынки, который обнаруживается у Аристотеля, мыслившего их в качестве расчетных центров, служащих для уравнивания излишков и дефицитов домохозяйств, причем в любом случае сами по себе рынки целью не были [Fuller, 2005b, ch. 1].

Если определять самый большой грех софистов в более привычных риторических терминах, он заключался в их равнодушии к характеру потенциального клиента. Конечно, Сократ никогда не порицает желание софистов заработать себе на жизнь. Он даже допускает, что их уроки имеют определенную ценность. Однако Сократ клеймит софистов за спекуляции на своем товаре, ссылаясь на тип людей, которых эти услуги обычно привлекают. В этом отношении Сократ – изначальный враг свободного рынка. Он считает, что только людей с правильным характером можно учить тем навыкам, которым в меру своих возможностей могут учить и софисты. Действительно, в переписке с Лео Штраусом Александр Кожев отмечал, что Платон отстаивал такую биржу метауровня, на которой те, кто знает, как управлять, вступали бы в транзакции с теми, у кого есть власть, позволяющая управлять, так что каждый удовлетворял бы законные потребности другого, что создавало бы целое, которое было бы больше суммы своих частей [Strauss, 2000; Штраус, 2006]. В этом уже скрывается вывод, на котором Платон основал свою карьеру, а именно: соответствующий рынок должен оставаться малым. Кроме того, к тому времени, когда Платон писал свои труды, деструктивные последствия широкого распространения софистических учений уже успели сказаться на безопасности Афин как государства. Но важнее то, что Платон требовал не уничтожить софистические учения как таковые, а ограничить доступ к ним, предоставляя его только специально подготовленному классу будущих лидеров, «царей-философов», описание которых приводится в «Государстве».

Эта стратегия помогает объяснить озабоченность Платона цензурой и особенно предложенное им изгнание «поэтов», хотя с таким же успехом он мог бы говорить о «софистах», то есть обо всех тех, у кого есть навыки, которые могли бы составить конкуренцию тем, что необходимы царю-философу. В этом смысле можно было бы сказать, что Платон придумал термин «риторика» не столько потому, что хотел провести различие между хорошей философией и плохой, сколько потому, что желал собрать полный комплект философских навыков в виде одного источника власти и контроля. Мы могли бы назвать это – по аналогии с «монополистическим капитализмом» – *монополистическим интеллектуализмом*. Например, когда Сократ проводит свое знаменитое разоблачение искусства письма в «Федре», следует понимать, что в той же или даже большей мере он обличает индивидуальное применение письма, а не просто письмо как таковое. В конце концов, письмо способно каждого человека сделать законом для него самого, поскольку каждый может сочинять сценарии, которыми станет руководствоваться в своей речи и своих поступках. Хотя Сократ подчеркивал проистекающую из такого положения дел неподлинность слов, перспектива создания общества грамотных индивидов еще больше усложняла задачу управления, как она видится любому начинающему царю-философу, ведь в таком случае поступки и слова людей опосредовались бы на таком уровне, на котором их мысли стали бы менее прозрачными, а потому и менее доступными для манипуляций.

Рассмотрим другой пример: ключевая риторическая стратегия, применяемая Платоном в «аллегории пещеры», в седьмой книге «Государства», включает переключение точки зрения, то есть сдвиг от того, что видят люди света, к тому, что видят люди тьмы, причем цель в том, чтобы дать первым возможность вывести из пещеры вторых. Эта способность переворачивать точку зрения представляла собой диалектическое умение, которому обычно учили софисты. Однако, поскольку такое умение становилось доступным всем платежеспособным клиентам, суммарный эффект его освоения состоял в том, люди получали возможность предугадывать ходы друг друга, а потому политика уподоблялась игре, в которой ритор постоянно то упреждает своего собеседника, то приспосабливается к нему, неизменно представляя его своим противником. В столь подвижных и даже нездоровых условиях у диалектика очень мало возможностей или желания осуществить нечто похожее на диалектический синтез в духе Гегеля или *Aufheben* (снятие), в котором противники обнаруживают пространство, позволяющее им отложить свои различия и достичь большего, чем они могли бы достичь каждый своими силами или же в результате конкуренции за одну и ту же позицию [Melzer, 2014, ch. 3].

Пока у меня получалось обсуждать Платона и софистов, не используя слова *истина*. Дело в том, что и первый, и вторые ориентировались, если говорить в современных категориях, на постистину. Их интересовала не столько сама истина, сколько условия, в которых истина возможна. Интуитивно это можно понять – как и увидеть, в чем же различие между Платоном и софистами, – если обратить внимание на то, что и софисты, и Платон считали политику игрой, то есть полем игры, предполагающим определенное сочетание удачи и умения. Однако софисты считали политику преимущественно *азартной игрой*, тогда как Платон видел в ней *игру мастерства*. Так, клиент, прошедший обучение у софистов, применяет навык, чтобы максимизировать случайность, которая затем может быть превращена в удачную возможность, тогда как царь-философ использует примерно те же самые навыки для минимизации случайности или же для противодействия чистому случаю. Далее я в основном буду заниматься фигурой *драматурга* как особой разновидности «поэта», бросающего вызов платонической инициативе в самом важном ее пункте, поскольку он обыгрывает именно это различие.

Исполнительские искусства – естественный медиум мира постистины. Классическое расхождение Платона и Аристотеля по вопросу нормативного статуса театра позволяет понять этот момент. По сути, они оказались двумя сторонами одной медали. У Платона драматурги и артисты вызвали крайнее подозрение своей способностью сбивать у аудитории ощущение различия между реальным и возможным, тогда как Аристотель приветствовал драматические представления, но только в том случае, если сюжет пьесы достигает развязки за время сценического действия. Таким образом, ни тот, ни другой не поощряли перехлест театральных эффектов на общество в целом. Однако Платон считал такой перехлест явной политической угрозой, тогда как Аристотель – всего лишь эстетической неудачей. В этом различии, возможно, отразилось то, что Платон писал, когда Афины еще были независимым демократическим государством, тогда как Аристотель – уже после того, как город попал под власть его работодателя Александра Великого. Другими словами, когда Аристотель рассуждал о нормативном статусе театра, цена вопроса была уже невелика.

Почему размывание различия между *действительным* и *возможным*, или, если предпочесть то же различие в несколько иной форме, между *фактом* и *вымыслом*, представляет столь значительную политическую угрозу? Для начала напомним о двух общих типах обоснования моральных теорий: с одной стороны, они могут обосновываться отсылкой к законодателю, который либо является человеком, либо ориентирован на людей, с другой – они обосновываются отсылкой к «природе», понимаемой в качестве сущности, либо безразличной к человечеству, либо заинтересованной в людях, но только как части более общего порядка. Традиция, включающая Моисея, Иисуса, Канта и Иеремию Бентама, относится к первой категории. Тогда как традиция, включающая Аристотеля, Эпикура, Дэвида Юма и современных эволюционных

биологов, – ко второй. Что касается Платона, он, что примечательно, придерживался по этому вопросу двойственного мнения. Да, он верил в истину, обоснованную в первом смысле, предлагая уроки возможным политическим лидерам – царям-философам – в соответствии с такой трактовкой. Но в то же время Платон считал, что бесперебойное функционирование государства требует, чтобы все остальные верили в «естественное» обоснование морали.

В историях теологии и философии двойственная позиция Платона обычно называется *учением о двойной истине* [Melzer, 2014, ch. 2]. Это выделяет его в качестве мыслителя постистины, но не потому, что он отрицает наличие истины. Платон не только не отрицает наличие истины, но и приносит ей клятву верности. Скорее, постистинный подход Платона проявляется в той ограниченной роли, которую он отводит истине в делах человека, в закавыченном понимании «истины», закрепляющей эпистемическое превосходство системы убеждений элит над таковой масс, что, с его точки зрения, обеспечивает более эффективное правление. В самом деле, учение о двойной истине постулирует, что и элиты, и массы должны быть заинтересованы в наличии двух «истин»: одна распространяется на всякий возможный мир, в котором мы могли бы жить (постистинный смысл «истины правителей»), а другая заверяет каждого в том, что мир, где мы сейчас на самом деле живем, справедлив.

Пока протестантская Реформация не запустила процесс распространения грамотности в Европе, платоновское понимание элитной истины было доступно лишь меньшинству, умеющему читать и писать. Эти люди могли вполне серьезно стремиться постичь разум Бога, что было золотым стандартом понимания манипуляций с возможными мирами. В конце концов, сама идея возможных миров укоренена в способности по-разному интерпретировать текст, которая, в свою очередь, требует грамотности. Однако с массовым распространением грамотности платоновская чувствительность начала демократизироваться. «Постистинный» горизонт платоновских элит постепенно «приватизировался», когда все больше людей учились читать текст самостоятельно, интерпретировать его по-своему и составлять законы для самих себя. То, что получило название «публичного», означало истину, предписанную в данном поле, то есть подразумевала наличие правил текущей игры, которые коллективно ратифицировались и применялись этим множеством платоников. То есть публичное стало материей «общественных договоров» и «конституций». Когда во времена Просвещения XVIII в. на этот феномен обратили внимание, «лицемерие» предстало амбивалентным термином, обозначающим тех, кто публично играет по правилам, но при этом пытается применять их себе на пользу [Sennett, 1977; Сеннет, 2002]. Политика парламентов и собраний сохранила эту демократизированную платоновскую установку вплоть до наших дней. Однако сегодня мы живем в эпоху еще большей демократизации, связываемой с развитием киберграмотности, то есть с «состоянием постистины».

Но вернемся к Платону. С его точки зрения, артисты виновны в том, что создают живое ощущение какого угодно числа «неестественных» порядков, то есть альтернативных миров, которые наводят зрителей на мысль о том, как бы воплотить их, выйдя из театра, – воплотить исключительно силой своей личности и воли. Конечно, именно так законодатель и утверждает свой «естественный» порядок, однако он в обычном случае не сталкивается с конкуренцией, заставляющей его раскрыть карты. Платон, а вслед за ним и Макиавелли считали, что прочность сотканной законодателем политической ткани сохраняется лучше всего тогда, когда швы ее остаются скрытыми, а не разоблачаются как всего лишь импровизации по мотивам сценария, который можно было бы прочесть иначе и получить альтернативную версию реальности [Goodman, 1978; Гудмен, 2001; Fuller, 2009, ch. 4; Фуллер, 2018, гл. 4].

Как и следовало ожидать от человека, который революционизировал философию, пережив саму форму драмы, Платон отлично понимал драматургов, как и они его. Они стали заклятыми врагами в постистинном мире, в котором «настоящие верующие», если можно их так назвать, составляют остальную часть общества, то есть «массы», которые видят в законно-

сти своего мира отражение некоего естественного порядка, а *не* итог борьбы за власть противоборствующих сил. Собственно, Платон и драматурги борются за *модальную власть*. Я имею в виду здесь понятие модальности, которая в современный период часто понималась в качестве своего рода логики второго порядка.

Говоря в целом, модальность связана с тем, как нечто существует в мире: если определенная пропозиция *p* истинна, насколько она истинна? Даже если мы согласимся с тем, что *p* и правда истинна, есть существенная разница в том, считать ли, что *p* *необходимо* истинна или же только *случайно* истинна. Конечно, большая часть того, во что мы верим, считается нами случайно истинным, но случайность и сама составляет спектр возможностей, начиная с почти полной необходимости (когда, к примеру, очень трудно представить условие, при котором истина *p* была бы отменена) и заканчивая почти полной ложностью (когда очень легко представить условие, при котором истина *p* была бы аннулирована). Платоновский политический порядок поддерживается массами, считающими, что случайное является почти что необходимым. И наоборот, театр – это основное средство преобразования случайных истин законодателя – и статус-кво в целом – в почти полную ложность, что достигается за счет сценического построения правдоподобных альтернативных («почти истинных») реальностей, конкурирующих с теми, что обычно демонстрируются за пределами театра.

При таком понимании модальной власти знаменитые диалоги Платона о природе справедливости могут предстать в несколько ином свете, особенно когда его позицию выражает его неотцензурированный представитель, Сократ. Ключевым моментом выступает цитата, сфабрикованная Фукидидом в пятой книге «История Пелопоннесской войны». Один афинский дипломат рассказывает своему коллеге, представляющему страну, которая скоро будет завоевана, что «право, как водится, это вопрос лишь среди равных по власти, тогда как сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны». Эта цитата считается предпосылкой для диалектической встречи Сократа с Фрасимахом в «Государстве», где последний доказывает, что «сила создает право»⁷. Содержание вопросов Сократа не вполне совпадает с тем, как оно обычно представляется. Сократ понимает Фрасимаха в том смысле, будто, по мнению последнего, право на правление предполагается самой идеей могущества, на что он отвечает, что право на правление достается тому, кто обнаруживает, что никто другой не стал бы лучшим вождем, а значит, сила правителя вытекает из *этого* факта. Короче говоря, Сократ переворачивает утверждение Фрасимаха: *право создает силу*.

Но как именно мы должны анализировать контрдовод Сократа? В конечном счете, «право» в этом контексте означает, судя по всему, не что иное, как «сравнительное преимущество». Более того, было бы анахронизмом предполагать, что Сократ имеет в виду некую стандартную демократическую процедуру, которая наделяла бы правом на правление на основе, скажем, результатов голосования. Афиняне практиковали аккламацию и выборы путем жеребьевки. Скорее, он имеет в виду нечто гораздо более неопределенное и в то же время похожее на игру. «Сила» оценивается в зависимости от восприятия того, что серьезных альтернатив не существует, что кандидат «почти что необходим», а потому получает право править. Как именно публично доказывается эта почти полная необходимость – вопрос открытый, однако Сократа вполне можно понять в том смысле, что его тезис подразумевает согласие правителя и подвластного. Другими словами, обе стороны должны каким-то образом – мирным путем или насильственным, дискурсивным или интуитивным – прийти к согласию о том, что одна

⁷ Соответствующая цитата из русского перевода Фукидида: «Ведь вам, как и нам, хорошо известно, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве сил обе стороны признают общую для той и другой стороны необходимость. В противном случае более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться» [Фукидид. История. Кн. 5. 89]. Из Платона: «... я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему» [Платон. Государство. 341a]. – *Примеч. пер.*

сторона лучше годится для правления, то есть интересы обеих сторон оптимизированы таким соглашением.

Естественным потомком такого подхода в наши более демократические и более экономистские времена является «принцип различия» Джона Ролза [Rawls, 1971; Ролз, 1995], составляющий основу его знаменитой теории справедливости. Согласно этому принципу неравенство оправдано, только если наиболее неблагоприятные группы населения получают в этом случае бóльшую выгоду, чем в том, если бы неравенство отсутствовало. Однако этим предполагается, что люди могут – так или иначе – согласиться с суждениями такого рода, в том числе и тогда, когда дело доходит до признания легитимности подчинения самих себя «вышестоящему». Платоник боится того, что драматурги могут разрушить тонкое ощущение «почти полной необходимости», которое скрывается за подобными суждениями, убедив зрителей в том, что истинное сегодня может завтра оказаться ложным, и наоборот, то есть «необходимое» накрывается тенью «возможного». Драматурги угрожают разоблачить то, что сам Платон предпочел бы оставить скрытым, а именно подавление воображения, необходимое для того, чтобы режим законодателя соответствовал имеющемуся у людей чувству естественного порядка.

Если судить со строго драматургической точки зрения, самый большой комплимент, который можно сделать драме, – сказать, что действие на сцене настолько «реалистично», что его легко представить и за пределами сцены. Но именно в этом пункте различие факта и вымысла размывается, что создает опасность для платоновского мира «закона и порядка». Если говорить в категориях модальной власти, различие факта и вымысла сильнее всего тогда, когда разным состояниям мира легко приписать разные степени неопределенности, составляющие спектр от необходимого (являющегося модальным эквивалентом «определенно истинного») до невозможного (модального эквивалента «определенно ложного»). В обыденном опыте этим занимается здравый смысл, оценивающий «рискованность» различных действий и планов. Однако, когда все кажется равно (не)определенным, тогда различие факта и вымысла действительно стирается, а значит, драматург одержал победу над царем-философом. В таком случае люди начинают недооценивать риски, связанные с фундаментальной переменной в порядке действий, а потому и соглашаются с ней с большей легкостью или же просто инициируют подобные перемены, что угрожает авторитету царя-философа, а также, как считал сам Платон, и социальному порядку в целом.

Во многих работах по греческой этимологии отмечается, что слова «теория» и «театр» восходят к одному общему корню, а именно к греческому слову «*theos*», обозначающему «бога». В такой этимологии скрывается представление о божестве, силы которого опираются на его способность видеть одновременно в рамках своей собственной системы координат и за ее пределами, то есть на то, что оно является двойным зрителем, или «*theoros*». В логике это называется осведомленностью *второго порядка*: можно не только играть в определенную языковую игру, но также знать, что игра эта лишь одна из многих, в какие можно сыграть. Далее я связываю эту осведомленность с ментальностью *постистины*. В диалогах Платона софисты, очевидно, пытаются привить своим клиентам ментальность такого рода, которая, в принципе, должна наделять их богоподобной способностью решать, в какую игру играть на открытом пространстве агоры. Сократ отталкивается от этого базового смысла рефлексивной осведомленности, утверждая наличие в конечном счете только одной игры, а именно *истины*, приверженность которой позволила бы каждому играть по простым правилам, следуя, соответственно, тому, что логики назвали бы осведомленностью *первого порядка*.

Возможно, наиболее откровенный пример подхода Сократа приводится в 20-й главе «Протагора», в которой ему удается заставить своего противника-софиста признать, что все добродетели составляют одну, поскольку у всех у них одна и та же противоположность, *aphrosyne*, что обычно переводят как «отсутствие пропорции или перспективы». В процессе убеждения Протагора в своем тезисе Сократ постепенно устраняет понимание добродетелей

как чего-то подобного навыкам, когда каждая добродетель обладала бы своим собственным градиентом, так что можно было бы показывать лучшие или худшие результаты. Это позволяет нейтрализовать образ гражданина, предполагаемый софистами, а именно того, чья компетенция заключается в разыгрывании то одной добродетели, то другой соответственно требованиям момента, то есть примерно так же, как поступает экономический агент, «оптимизирующий» полезность и принимающий решение действовать, когда он нашел компромисс между разными интересами. Сократ, со своей стороны, предполагает, что в тезисе о существовании разных добродетелей скрывается незнание существа добродетели. То есть справедливость, добро, красота и т.д. – все это просто аспекты добродетели как таковой. Добродетель в этом однозначном смысле отождествляется с истиной, в которой каждая вещь понимается в своем подлинном смысле. С этой точки зрения, размножая добродетели как умения, Протагор продает части, словно бы они были целым. Аргумент Сократа в его платоновской переработке будет иметь огромное влияние в эпоху Средневековья, когда авраамическое божество станет представлять то, что Сократом было определено в качестве единой истины, скрывающейся за внешними проявлениями добродетелей.

Итоговое различие между Сократом и софистами состоит не в диалектических способностях обеих сторон, которые по сути одинаковы. В этом смысле «философия» как термин, придуманный Платоном для обозначения стиля аргументации Сократа, и «риторика» – для обозначения софистического стиля сами являются не более чем риторическим трюком. Скорее, различие заключается в неприятии Сократом свободного – одни сказали бы «демократического», а другие «коммерческого» – способа применения софистами этих общих способностей. Представлять послышки разумных доводов в качестве чистых выдумок того, кто этими доводами пользуется, значит изображать любого человека в виде потенциального божества, каковым он может стать, если достаточное число других людей решат считать его послышки правилами игры, по которым все они впоследствии будут играть. И как было известно Платону по личному опыту, софистам действительно удалось убедить достаточное число граждан в их, так сказать, «диалектической божественности», а потому афинская демократия в итоге уподобилась хаотическому сообществу богов греческой мифологии. К несчастью, в реальном мире это привело к поражению афинян в Пелопоннесской войне со спартанцами, что стало началом безвозвратного упадка Афин.

В версии, предложенной Платоном, Сократ защищает необходимость играть только в одну игру, что объясняет, почему софисты и «поэты» попали в одну и ту же категорию. Я заказывал слово «поэты», поскольку этот термин следует понимать в исходном греческом смысле *poesis*, то есть в смысле производительного использования слов для создания миров. Во времена Платона наиболее опасными поэтами были драматурги, но в наши дни главным источником сравнимого по силе беспорядка могут стать опытные программисты или «хакеры» [Wark, 2004]. Если Платон считал, что только профессиональные цари-философы должны культивировать воображение второго порядка – тут можно вспомнить «Игру в бисер» Германа Гессе, – то его враги были готовы распространять эту способность среди максимального широкого круга. Ставкой этого противостояния была *модальная власть*. Иными словами, какими бы ни были – или казались – правила игры, они могут быть иными. С точки зрения постистины истина представляется крайним ограничением воображения, объясняющим авторитарный или даже тоталитарный привкус содержательных предложений Платона по управлению политией, выдвинутых в «Государстве».

В то же время легко понять, почему Августин и другие раннехристианские мыслители выбрали Платона в качестве метафизического ориентира для своих собственных монотеистических воззрений, ведь диалоги ясно показывали опасности, возникающие тогда, когда люди пытаются вести себя подобно богам в политеистическом космосе. Однако христианство также было религией, утверждающей, что верующие в каком-то смысле обладают прямой связью с

божеством. Действительно, поскольку, согласно Библии, люди сотворены *imago dei*, то есть «по образу Божьему» (эта выражение было популяризировано Августином), возможность того, что каждый человек сможет не просто подражать богу, как у греков, но и на самом деле приобрести божественную природу, оказалась неисчерпаемым источником ересей. Итогом стала протестантская Реформация, она, можно сказать, воспроизвела софистическую ситуацию, от которой пытались уйти первые христиане, подписавшиеся под принципами Платона. Конечно, исходное решение самого Августина состояло в том, чтобы усилить авторитет утвердившейся к его времени «универсальной» (или по-гречески *katholikos*) Церкви, которая в общем и целом продержалась две тысячи лет, несмотря на два раскола на европейском континенте, сначала примерно в 1000 г. между Востоком и Западом (что привело к образованию православных церквей), а потом, около 1500 г., между Севером и Югом (с образованием протестантских церквей).

Модальная власть индустрии развлечений

В этом контексте стоит напомнить, что «развлечение» (*entertainment*) – английское слово, появившееся в начале XVII в., когда оно стало использоваться для выражения временного владения (*tenancy*) в абстрактном смысле, как, например, если король держит при дворе поэта или драматурга для забавы, но также для того, чтобы его присутствие оказывало влияние на его собственное политическое суждение. Платон бы ужаснулся такой инновации, как, собственно, и Томас Гоббс, который с подозрением относился к театральности экспериментальных доказательств, ставших особой разновидностью королевских развлечений, генеалогия которых стала предметом наиболее влиятельной в современной исторической социологии монографии [Shapin, Schaffer, 1985; разбор обеспокоенности Гоббса см.: Shaplin, 2009]. Страх, вызываемый развлечениями (или возможность, ими создаваемая), состоит в том, что, после того как занавес наконец опущен, зрители могут продолжать действовать, следуя духу представления, которое они лицезрели, превращая тем самым «реальную жизнь» в продолжение сцены или, чего боялся Гоббс, лаборатории.

Если говорить о современной науке, Гоббсу было бы чего опасаться и сегодня, может, даже больше, чем в его время. Исследователи пока еще не осознали в полной мере той роли, которую способность инсценировать, разыгрывать или симулировать события в цифровых медиа приобретает в качестве составляющей процедуры научного подтверждения, наряду с лабораторным экспериментом и более традиционными техниками компьютерного моделирования. Хотя Джон Хорган, редактор *Scientific American* [Horgan, 1996], уже провокационно заявил, что место научного исследования – это больше не поле, а лаборатория и компьютер, а потому способы оценки притязаний на знание больше походят на литературную критику, поскольку во главу угла ставятся математические критерии, ориентированные на эстетику.

В той области, которую Дэвид Керби [Kirby, 2011] удачно окрестил «голливудским знанием», консультанты, курсирующие между научным и кинематографическим сообществами, не просто передают информацию, которую нужно знать и тем, и другим, чтобы наладить коммуникацию. Скорее, ученые и кинематографисты занимаются взаимной калибровкой своих целей и стандартов успешности. В частности, кинематографисты не просто оформляют ожидания своих зрителей, но также подпитывают и само научное воображение, когда определенные аспекты сложных понятий и ситуаций усиливаются и порой даже преувеличиваются, но в любом случае доводятся до логической крайности, что очень похоже на лучшие мысленные эксперименты. Этот процесс заслуживает серьезного эпистемологического анализа, поскольку он подрывает различие, которое так ценилось социологами экспертных знаний [Collins, Evans, 2007], а именно различие между теми, чья экспертиза является всего лишь «интеракционной» (примером выступает тот критический взгляд, который любитель может предложить профессионалу, основываясь, к примеру, на знакомстве с соответствующей литературой), и теми, чья – «контрибуционной» (то есть способностью сделать реальный вклад в данную сферу деятельности).

Поразительным примером является протофеминистский фильм Фрица Ланга 1929 г. «Женщина на Луне», многие элементы которого – начиная с конструкции посадочного модуля и до ритуала обратного отсчета – были подхвачены НАСА 30 лет спустя, отчасти под влиянием Вернера фон Брауна, который смотрел фильм в юности. Более общий пример – меняющийся образ ДНК начиная, скажем, с простого комбинаторного изображения молекулы на примитивном компьютерном экране в телесериале ВВС 1973 г. «Восхождение человека» и заканчивая трехмерной динамической машинерией, которую мы привыкли видеть в современных научных фильмах. Этот пример иллюстрирует, как усовершенствования в медиарепрезентациях помогли переориентировать и научное, и общественное понимание того, о чем говорят те или

иные фундаментальные концепции. В этом отношении, если говорить словами из старой песни Гиля Скота-Херона, следующая научная революция может случиться в телевизоре.

Само представление о том, что научные теории могут сохраняться или, наоборот, отвергаться в зависимости от того, допускают ли они, скажем, качественные кинематографические впечатления, может поначалу показаться несерьезным, однако так ли оно отличается от оценки обоснованности математических моделей по элегантности симуляций, производимых на компьютерном экране? Когда задумываешься о вариантах таких тектонических сдвигов в научной репрезентации, всегда полезно помнить о долгосрочной перспективе. Вспомним, что среди первых возражений на использование экспериментов как способа разрешения научных споров было и то, что они требуют слишком много закулисных инсценировок и «редактирования», а потому создают артефакт, не имеющий четкого коррелята в природе и служащий лишь для манипуляции органами чувств. В самом деле во многих случаях эксперименты нельзя было точно воспроизвести, так что они рассчитывали, скорее, на то, что впечатленный наблюдатель начнет рассматривать природу в свете принципов или феноменов, предположительно продемонстрированных экспериментом. Возражения такого рода, наиболее известными из которых стали те, что Гоббс предъявил Роберту Бойлу, обычно считаются ранненововой версией старой платоновской критики поэзии и драмы как фальшивой имитации подлинного знания и чувства. И в том же самом смысле мы можем трактовать современный скептицизм, мишенью которого становится «наука-по-телевидению», как только люди с соответствующими медийными компетенциями пополняют ряды инспекторов науки вслед за ремесленниками, механиками и программистами.

Мое постистинностное понимание интеллектуальной силы, скрытой в индустрии развлечений, противостоит основному пункту влиятельной и злой критики ее гипотетических наркотических эффектов, которую представил Нил Постман [Postman, 1985]. Конечно, Постман в основном занимался телевидением, которое он понимал в духе Маршалла Маклюэна, то есть в качестве всепоглощающего, но не интерактивного «холодного» медиума, который и правда высасывал жизнь из зрителей, что в довольно красочной форме было представлено Дэвидом Кроненбергом в его фильме «Видеодром» (1983). Но Постман мог бы сосредоточиться не на вампире, а на *вирусе* как модели такого режима развлечений, при котором хозяин не уничтожается, а просто заражается организмом-гостем. Это возвращает нас к проблеме, которая первоначально волновала Платона и которая была превращена в добродетель «театром жестокости» Антонена Арто [Artaud, 1958; Arto, 2000]: дело не в том, что поэты погружают своих слушателей в состояние сна, а в том, что слушатели могут попытаться воплотить такие сновидения в «реальной жизни». Нормативные границы «реалити-шоу» составляют интересный современный ориентир, связанный с этой проблемой. Хотя телепродюсеры и зрители всячески приветствуют программы в стиле *Dragons' Den* (в американском варианте – *Shark Tank*), в которых предпринимательство преподносится как конкурс талантов, предложения разыграть в том же стиле еще и политические выборы были встречены негодованием, узнав о котором, Платон мог бы выдохнуть с облегчением, по крайней мере пока [Firth, 2009].

В конечном счете царь-философ обеспокоен не столько тем, что за естественным основанием социального порядка люди увидят скрытые махинации, сколько тем, готовы ли они иметь дело с последствиями деятельности в таком мире, в котором функции закона и природы более не считаются тесно связанными друг с другом, не говоря уже о том, чтобы подкреплять друг друга. Короче говоря, проблема постистины не в самой истине, а в способности людей справиться с ней. Собственно, если предполагать, что истина существует, оборотной стороной тезиса о том, что истина независима от ее человеческого понимания, оказывается вывод о том, что люди, возможно, не готовы с такой истиной столкнуться. В этом смысле неудивительно, наверное, то, что Генрик Ибсен, признанный величайшим драматургом современности, многие из своих пьес посвятил теме «жизненной лжи», которая раскрывается по мере

развития сюжета, что приводит к буквальному или метафорическому насилию. Талант Ибсена состоит в такой расстановке своих героев, что они вынуждены непредумышленно прорабатывать жизненную ложь по мере развития сюжета, предвосхищая при этом то, что со временем они придут к ее полному пониманию. Как поняли уже самые первые поклонники Ибсена, особенно Джордж Бернارد Шоу, в этом заключался относительно вежливый способ дестабилизации наличного порядка, способ, которому мог бы, пусть и с неохотой, отдать должное даже Платон, ведь он и сам был настоящим мастером диалога. (Этим же объясняются сократические, хотя подчас и неуклюжие, попытки Бернарда Шоу, прямо утверждающего в своих пьесах то, для чего Ибсен нашел бы более замысловатую форму выражения.)

Какой бы победы платоники ни добились над драматургами на политической арене, их хватка по мере развития капитализма ослабела, особенно когда чисто финансовая спекуляция стала играть все большую роль в обороте капитала. Финансовая спекуляция требует реконструкции экономики по образу драматурга, который в конечном счете хочет того, чтобы люди поняли, что будущее не обязательно похоже на прошлое. Так, почтенные компании могут прогнуться под напором амбициозных стартапов, если последние получают достаточно поддержки от инвесторов, которых манят те же перспективы. Платоники – в том числе Джон Мейнард Кейнс – обычно рассматривают это в категориях «иррационального начала», свойственного поведению масс, которые спешат реагировать на любые обещания, способные повредить их материальному положению или, напротив, улучшить его. Однако таких инвесторов можно понимать и в совершенно ином смысле, а именно как тех, кто осуществляет свою рациональную волю в неустойчивом по самой своей природе мире, стремясь реализовать лучшее положение вещей. С этой точки зрения срок годности статус-кво, возможно, уже истек, а потому пришло время рассмотреть иной тип будущего. Но и в той и в другой интерпретации инвесторы обменивают безопасность настоящего на перспективу большей свободы (в форме большего доступного дохода от большего оборота), перераспределяя свои активы. Конечно, сработает ли такая стратегия, зависит от того, добьются ли начинающие компании тех результатов, которые они обещают; в противном случае инвесторы могут в конечном счете обеднеть. Но в обоих случаях софисты утвердили бы второпорядковую победу, поскольку экономика действительно превращается из игры мастерства в азартную игру.

Наконец, стоит обратить внимание на человека, который дал наиболее впечатляющий платоновский ответ на подъем финансового капитализма, сосредоточившись как раз на той ключевой роли, которую реклама стала играть в продвижении товаров, которые еще должны были показать себя на рынке. Ответ этот в XX в. дал величайший теоретик «объективной журналистики» Уолтер Липпман [Lippmann, 1922; Липпман, 2004]. Свою карьеру он начал, работая вместе с Эдвардом Бернейсом, своим современником, ставшим отцом современного пиара [Bernays, 1923; Бернейс, 2015a], – оба были заняты в кампании Вудро Вильсона, которому удалось убедить американцев принять участие в Первой мировой войне. Это само по себе стало поразительным достижением пиара, если учесть, что США официально не подверглись нападению, а сама война шла на расстоянии трех тысяч миль, на европейском континенте, с которым нация иммигрантов когда-то была только рада окончательно распрощаться.

И Липпман [Lippmann, 1925], и Бернейс [Bernays, 1928; Бернейс, 2015б] понимали значение своего риторического переворота. Их параллельные судьбы, развертывающиеся на протяжении всего XX в., были прекрасно отображены в документальном фильме ВВС «Столетие личности», снятом режиссером Адамом Кертисом. В общем и целом, в «ревушие» двадцатые Бернейс воспользовался американским этосом *laissez-faire* и сделал из стратегии успешной кампании, проведенной в военное время, многомиллиардную мирную индустрию, а Липпман призвал к введению государственного лицензирования, которое должно было помешать рекламщикам склонять потребителей к покупке товаров, услуг и, что немаловажно, акций компаний, не способных в конечном счете выполнить свои обещания. В одном из первых задо-

кументированных кейсов «раскрутки» Бернейс смог перевернуть негативное описание пиара, данное Липпманом, который называл его «фабрикацией согласия», и превратить его в более профессиональную «инженерию согласия» [Jansen, 2013]. Конечно, Ноам Хомский гораздо позднее смог восстановить первоначальный смысл выражения Липпмана [Herman, Chomsky, 1988].

Тем не менее Бернейс одержал верх в широковещательной медиасреде, быстро развивавшейся в 1920-х годах, пусть даже первоначальные опасения Уолтера Липпмана оправдались еще в 1929 г., когда обрушился фондовый рынок Уолл-стрит, что привело к Великой депрессии, охватившей весь капиталистический мир. И все же платоники сохранили за собой оборонительную позицию, о чем свидетельствуют последовавшие капиталистические циклы падения и подъема, которые часто подогревались обещаниями инноваций, в конечном счете не выполнявшимися. Конечно, через какое-то время на сцену выходили государственные регуляторы, но всегда во втором акте – они оплакивали платоников, к которым не смогли прислушаться, хотя те на манер Кассандры пророчили грядущую катастрофу. И пусть мы привыкли не к такому образу Платона, именно таким он представляется миру постистины, который сжился с тем смыслом «риторики», которым был Платоном опорочен.

Как истина видится постистине: веритизм как «фейк-философия»

Стоит подчеркнуть, что сторонник постистины не отрицает существования фактов, не говоря уже об объективных фактах. Он просто желает сорвать тот покров таинственности, в который обычно облачается создание и поддержание фактов. Например, эпистемологи давно уже пытаются разобраться с представлением о том, что «соответствие реальности» объясняет, почему определенное высказывание является «фактом». Если придерживаться самой обычной интерпретации, это кажется немного таинственным, поскольку таким выражением предполагается довольно странное развитие событий. Рассмотрим пример научных фактов. 1) Ученые делают что-то такое в лаборатории. 2) Они публикуют что-то такое, что убеждает их коллег-ученых в том, что там что-то случилось, и это запускает череду действий, которая вначале оставляет свой след на коллективном корпусе научного знания, а в конечном счете и на мире в целом как предмете «экспертного» суждения. 3) Однако – и именно это говорят нам сторонники «истины» – легитимность факта (то есть то, что делает его «истинным») в конечном счете проистекает из того, что находится *вне* этого процесса, а именно из реальности, которой он «соответствует».

Тому, кто не научен таким хитростям (то есть не знаком с модусом «истины»), пункт 3) кажется совершенно произвольным выводом, если даны только пункты 1) и 2). Поэтому неудивительно, что в XX в. философы постепенно охладели к этому сценарию, что, в свою очередь, привело к развитию постистины как особого умонастроения. И существует прямая генеалогическая связь идей, которая ведет от логических позитивистов и попперианцев к современному социальному конструктивизму в социологии научного знания, вопреки тому, что в учебниках они обычно представляются противниками. Я даже как-то назвал исследования науки и технологий (*STS*) «постмодернистским позитивизмом», не имея в виду, что это ругательство [Fuller, 2006b]! Чтобы настроить читателя на нижеследующие размышления, рассмотрим карьеру Людвиг Витгенштейна (1889–1951), две фазы которой проходят красной нитью через все эти процессы.

Два этапа философской карьеры Витгенштейна довольно четко описываются как попытки определить истину – с точки зрения сначала «истины», а потом «постистины»: кульминацией первого стал «Логико-философский трактат», а второго – «Философские исследования». Ранние работы Витгенштейна были сосредоточены на представлении об истинностно-функциональной логике, в которую можно перевести и в которой можно оценить все осмысленные суждения. Если суждение признавалось «имеющим значение», тогда можно было однозначным – или даже механическим – образом определить, истинное оно или ложное. Напротив, в поздних работах рассматривалось, как одна и та же цепочка данных – как количественных, так и качественных – может быть подведена под произвольное число правил или же проинтерпретирована в соответствии с произвольным числом правил, которые придадут ей значение. В этом случае требуемая форма вывода ближе к абдукции, чем к дедукции.

Ранний Витгенштейн выражает ориентацию «истины», в рамках которой правила игры познания понимаются всеми игроками достаточно хорошо, чтобы требования, заставляющие предъявлять «свидетельства», означали для всех игроков одно и то же. Это мир парадигм Куна, в которых игра познания называется «нормальной наукой» [Kuhn, 1970; Кун, 1977]. Конечно, в зависимости от состояния игры одни свидетельства могут значить больше других и даже перевешивать ранее предъявленные. Однако единообразие эпистемических стандартов означает, что каждый в равной мере признает такие ходы, а потому существует общее понимание собственной позиции в эпистемическом соревновании, в том числе и понимание того, какие команды показали наилучшие результаты.

Поздний же Витгенштейн иллюстрирует ориентацию на «постистину», в которой игра познания не определяется правилами; скорее, определение правил – это и есть предмет такой игры познания. Эмблемой этого подхода стал гештальт с изображением утки-кролика, который появляется не только в этот период творчества Витгенштейна, но также и у Куна, в его описании психологии «сдвига парадигм», характерной для научной революции. Идея состоит в том, что одни и те же свидетельства могут иметь разный вес в зависимости от принятой системы координат, что само по себе может привести к радикальным сдвигам в мировоззрении. И Витгенштейн, и Кун соглашались с тем, что превалирование той или иной системы координат является вопросом не предпрешенным, а эмпирическим, хотя постфактум он обычно прикрывается оправдательным нарративом, который данное сообщество рассказывает себе, чтобы коллективно двигаться вперед. Кун, как известно, называл этот нарратив «оруэлловским», ссылаясь на работу, которой в романе «1984» занимались сотрудники Министерства правды, регулярно переписывая историю так, чтобы она соответствовала сегодняшней линии партии, что позволяло ловко стирать из памяти любые следы того, что когда-то политический курс был другим или мог бы стать другим в будущем.

Поздний Витгенштейн и Кун не сходились в некоторых пунктах, поскольку первый, видимо, полагал, что правила игры могут измениться мгновенно в зависимости от того, кто присутствует при принятии решения, подлежащего к обязательному исполнению. Так, в принципе, числовой ряд, который начинается с чисел 2, 4..., может продолжаться разными числами – 6, 8 или 16 в зависимости от того, какое правило имеется в виду – $n+2$, $n \cdot 2$ или n^2 . Обычно для решения такого вопроса используется прецедент, однако прецедент сводится, по сути, лишь к «конвенции». Альтернативные правила дальнейших ходов сравнимы в таком случае с альтернативными диалектическими концептуализациями ситуации, которыми софист постоянно жонглирует, ожидая того, пока не подвернется удачный момент (*Kairos*). В самом деле эта интерпретация в 1970–1980-е годы позволила превратить позднего Витгенштейна в любимца этнометодологов, в том числе в рамках постепенно складывавшейся тогда «социологии научного знания», ставшей прообразом *STS*.

Тогда как Кун считал, что решающие моменты требуют определенной предыстории, логика которых в действительности вынуждает принять решение, пусть и крайне неохотно. Также оно может фактически повлечь отлучение тех, кто ранее составлял часть соответствующего сообщества. Подобная «логика» характеризуется таким накоплением нерешенных загадок в обиходе нормальной науки, которое впоследствии провоцирует «кризис», ведущий к смене парадигмы, устанавливающей новые правила научной игры. В этом смысле можно считать, что Кун нашел точку равновесия между двумя Витгенштейнами или – если вернуться к нашему прежнему обсуждению – между Сократом и софистами.

Показательно то, что все они обсуждают «истину» как нечто *внутреннее*, а не внешнее условиям игры. Иначе говоря, «истина» из субстантивного понятия превращается в процедурное. Собственно, для них «истина» – это второпорядковое понятие, у которого нет никакого определенного значения, помимо того, что соотносится с языком, в категориях которого могут выражаться притязания на знание. (В этом состоит так называемая «конвенция истины Тарского».) Именно в этом смысле Рудольф Карнап считал, что «парадигма» Куна позволила нарастить прагматическое мясо на позитивистских логических костях [Reisch, 1991; Fuller, 2000, ch. 6]. (Стоит подчеркнуть, что Карнап вынес это суждение до того, как поклонники Куна превратили его в кумира «постпозитивистской» философии науки.) В то же время эта ориентация заставила позитивистов отстаивать – и даже строить – универсальный язык науки, на который можно было бы перевести все притязания на знание и который позволял бы их оценить.

Для нас важнее то, что позитивисты не *предполагали* наличия некоего однозначного понимания истины, которого в конечном счете достигнут все честные исследователи. Скорее,

истина – это просто общее свойство языка, который мы решаем использовать, или игры, в которую мы решаем играть. В этом случае «истина» соответствует удовлетворению «условий истины», заданных правилами данного языка, так же как «гол» соответствует удовлетворению правил ведения определенной игры.

Конечно, позитивисты несколько запутали дело, поскольку всерьез считали, что наука желает получить универсальное признание своих притязаний на знание, а потому нужно создать такой язык науки, который позволил бы каждому внутри него обмениваться притязаниями на знание, а отсюда вытекает необходимость «редуцировать» подобные притязания к счетным и измеримым компонентам. Это на самом деле в какой-то мере сделало из позитивистов врагов всех наук, существовавших в то время, поскольку у каждой науки была своя частная система координат, управляемая правилами ее конкретной языковой игры. Необходимость преодолеть эту тенденцию объясняет проект «Международной энциклопедии единой науки». В этом отношении цель логического позитивизма состояла в разработке такой эпистемической игры, называемой *наукой*, в которую мог бы играть каждый, обладая потенциальной возможностью в ней выиграть.

Возможно, наиболее разработанная «фейк-философия», если ее можно так называть, призванная противодействовать подходу постистины, называется веритизмом, который заново утверждает «внешнюю» концепцию истины, объявляя ее необходимым ограничением – если не первоочередной целью – всякого законного исследования. Веритизм популярен, пусть он и не господствует, среди теоретиков познания и науки в современной аналитической философии, а наиболее известным его представителем является Элвин Голдман [Goldman, 1999]. К числу поклонников этой доктрины за пределами аналитиков относятся и те, кто стремится подкрепить эпистемический авторитет некоего научного консенсуса перед лицом постоянно растущего числа скептиков и диссидентов. Далее в этой и следующей главах я буду рассматривать в основном работу Эрика Бейкера и Наоми Орескес [Baker, Oreskes, 2017], поскольку простота их формулировок порождает в конечном счете такую ясность, какой обычно не сыщешь у профессиональных – да, именно аналитических – философов. «Фейковый» характер веритизма проистекает из его продуманного отказа заниматься природой «истины», по существу своему спорной, как и родственными эпистемическими понятиями, что приводит к смешению проблем второго и первого порядка.

Приведем пример такого фейкового характера веритизма в действии:

Напротив, истина (наряду со свидетельствами, фактами и другими словами, которые исследователи науки обычно из осторожности заключают в кавычки) – это намного более убедительный выбор одного из множества регулятивных идеалов предприятия, которое, в конечном счете, обладает очевидной когнитивной функцией [Baker, Oreskes, 2017, p. 69].

В этом высказывании допускается, насколько можно судить на первый взгляд, категориальная ошибка: предполагается, что «истина» – это еще один возможный, и при этом предпочтительный, регулятивный идеал науки наряду, скажем, с инструментальной эффективностью, культурной состоятельностью и т.д. Однако «истина» в смысле логического позитивизма – это свойство *всех* регулятивных идеалов науки, каждый из которых должен пониматься в качестве задающего языковую игру, управляемую своими собственными процедурами проверки, то есть, если угодно, правилами игры, в соответствии с которыми одна теория определяется (или «верифицируется») в качестве, например, более эффективной или более адекватной, чем другая.

Веритизм как эпистемическая программа говорит, что, чего бы исследование ни стремилось достичь в контексте целей самого исследователя, оно прежде всего должно служить «Истине». Результатом стали некоторые довольно странные эпистемологические доктрины,

включая «релейбилизм», который доказывает, что существуют процессы, регулярно порождающие истины, даже если у обладателей таких истин нет эпистемического доступа к ним [Goldman, 1999]. На первый взгляд кажется, что такое учение призвано отделить истину от субъективных состояний, осложнивших бы в противном случае генерализацию притязаний на истину, которые следует обособить от имеющейся у самого индивида версии «оправданного убеждения», не говоря уже о личном опыте. Однако, с точки зрения сторонника постистины, релейбилизм просто ищет предлог для того, чтобы люди отдали свои суждения на откуп экспертам, скажем, по когнитивным, поведенческим или нейронным наукам, то есть невыборным мастерам, занимающимся тем, что в нас самих остается нам неизвестным. В любом случае, с точки зрения незаинтересованного наблюдателя, веритизм, похоже, настолько спешит отделить истину от полезности, что обращается к такому определению истины, которое, если принять его за чистую монету, оказывается совершенно бесполезным.

Ричард Рорти в последние два десятилетия XX в. стал жупелом для представителей аналитической философии, и все потому, что раскрыл фейковый характер веритистов. Он обратил внимание на то, что философы могут сказать вам, что такое истина, но лишь пока вы принимаете кучу спорных посылок и надеетесь на то, что в аудитории, где вы говорите, нет тех, кто способен такие послышки оспорить! В действительности Рорти отказался от любой версии учения о двойной истине философии, сравнимого с различными учениями о двойной истине, получившими распространение в Средние века, когда надо было спасти религиозную истину от критического исследования, то есть Рорти отрицал такое учение, согласно которому философы могли бы в своем кругу занимать полуотстраненную позицию по отношению к различным конфликтующим концепциям истины, но в то же время выступали бы единым фронтом перед не-философами, чтобы массам не пришла на ум идея поверить в нечто недостойное.

Как пояснил Рорти [Rorty, 1979; Рорти, 1997], его постистинностный подход определился его знакомством с введенным Уилфридом Селларсом [Sellars, 1963] различием между «явной» и «научной» картинами мира. Идея Селларса состояла в том, что эти две картины «несоизмеримы» в том смысле, который популяризировал Кун. Другими словами, они по-разному классифицируют один и тот же мир, поскольку преследуют разные цели, а потому любая однозначная «редукция» или даже оценка одной картины средствами другой оказывается, таким образом, упражнением по отстаиванию одного предпочтительного мировоззрения. Например, сказать, что определенному наблюдению здравого смысла противоречит научное открытие, значит неявно предполагать, что такое наблюдение можно считать подотчетным открытию или, говоря проще, что обычный человек должен играть в языковые игры ученого. Следовательно, позитивизм, как в его исходной социологической форме у Конта, так и в логической форме Карнапа, всегда обладал довольно стойким привкусом реформаторского отношения к миру. Моя собственная социальная эпистемология также определяется этим подходом.

Различие Селларса повлияло на ряд философов, которые во всех иных отношениях занимали противоположные позиции по ряду ключевых вопросов эпистемологии и философии науки, включая Баса ван Фраассена (научного антиреалиста), Пола Черчленда (научного реалиста) и, что наиболее важно в нашем контексте, самоназванного «анархистского» философа науки Пола Фейерабенда [Feuerabend, 1981]. Фейерабенд был открытым врагом тех, кого называл «методопоклонниками», то есть философов (и, разумеется, ученых), приписывающих особую силу определенным ритуалам – доказательствам методологической чистоплотности, – которые должны повысить вероятность того, что у итоговых фактов появится искомое состояние «соответствия реальности». Как во времена фарисеев и пуритан, праведное поведение становится заменителем доступа к истине. Однако Фейерабенд [Feuerabend, 1975; Фейерабенд, 2007] показал, в чем риторическая сила и в то же время слабость такой стратегии поклонников истины, использовав случай Галилея, по современным стандартам не слишком щепетильного, а порой даже нечистоплотного мастера научного метода. Он не понимал оптики, на которой

основывается работа телескопа, то есть несколько усовершенствованного перископа, приставленного к невооруженному глазу, в том числе папских инквизиторов. Однако мы бы сказали, что методологически строгие инквизиторы, судившие Галилея, ослепили самих себя, не дав себе увидеть «полную истину» его утверждений – возможно, в силу самой своей строгости.

Конечно, Фейерабенд не говорит, в чем мораль этой истории, и именно это производит впечатление. Тем не менее для сторонника постистины ясно, что мы знаем о правоте Галилея, поскольку правила научной игры изменились за несколько десятилетий после его смерти, что позволило его первоначальным притязаниям на знание утвердиться на новых, усовершенствованных основаниях благодаря Ньютону и его последователям. Собеседники Галилея просмотрели то, что, хотя он и не удовлетворял *их* стандартам эмпирического доказательства, он в определенном смысле предсказывал будущее самой науки, по наступлении которого они сами устареют, а его притязания на истину станут фактами. Нечистоплотность и двуличие Галилея были, следовательно, рискованной эпистемической инвестицией, окупившейся в долгосрочной, но, конечно, не краткосрочной перспективе. Он пытался играть по правилам игры, отличной от той, перед которой должен был отчитываться. Суд над Галилеем показал сложности попыток изменения правил игры внутри самой игры, когда игроки считают, что с правилами все в порядке. Это последнее замечание помогает обосновать утверждение Куна о том, что ученые не перейдут к новой парадигме, пока в старой не накопится достаточно нерешенных проблем.

Как мы уже видели, сторонник постистины играет в две игры сразу: конечно, он или она играет в игру знания, в которую он или она вступили и в которой у них на первый взгляд мало пространства для маневра (*Spielraum*). Но он или она играет также – по крайней мере в своем уме – еще и во вторую, более желательную игру, в которую он или она хотели бы превратить актуальную игру. Это объясняет ту ценность, которую софисты приписывали *kairos*, возможности отстоять определенный аргумент. Она сводится к поиску диалектической точки перегиба, моменту, когда гештальт может просто переключиться с «утки» на «кролика». В этом смысле сторонник постистины – это эпистемический «двойной агент», а потому он уязвим перед обвинениями в лицемерии, в отличие от сторонника истины. Я связывал этот смысл выражения «двойной агентности» с «чушью» – термином, которым уязвленные веритисты чувствуют постмодернистов вот уже четыре десятилетия [Fuller, 2009, ch. 4; Фуллер, 2018, гл. 4]. Однако относительно нейтральный подсчет очков в противоборстве сторонников истины и постистины привел бы к выводу, что последние стремятся ослабить различие факта и вымысла, а потому и подорвать основания моральной непреклонности своих оппонентов, облегчив переключение между различными играми знания, тогда как сторонники истины хотят усилить это различие, усложнив переключение между различными играми знания. Короче говоря, различие завязано на исход борьбы вокруг того, что ранее я назвал «модальной властью».

Консенсус: сфабрикованное согласие как регулятивный идеал науки?

Когда веритисты говорят, что истина – это «регулятивный идеал» всякого исследования, они просто указывают на такую расстановку социальных сил, при которой самоорганизующееся научное сообщество выступает окончательным арбитром всех притязаний на знание, принимаемых обществом в целом. Конечно, научное сообщество может в чем-то ошибиться, однако ошибки обнаруживаются только тогда, когда научное сообщество решает признать их, а исправляются они опять же только тогда, когда научное сообщество говорит, что они исправлены. Собственно, веритисты отстаивают то, что я назвал «когнитивным авторитаризмом» [Fuller, 1988, ch. 12]. С точки зрения постистины веритизм сводится к слегка приукрашенной версии морального крестового похода, что ясно по таким псевдоэпистемическим понятиям, как «доверие» и «надежность», благодаря которым «научность» ассоциируется с корпусом знания и одновременно с людьми, такое знание производящими. Я говорю «псевдо», поскольку нет согласия относительно специальной эпистемической меры подобных качеств. Суждения о людях неизменно используются в качестве замены суждений о мире.

Например, *доверие* – качество, присутствие которого ощущается преимущественно как двойное отсутствие, а именно как мудрый отказ изучать претензии на знание самостоятельно, который, как решается впоследствии, повлечет не негативные последствия, в основном потому, что некая «доверенная сторона» (известная также под именем «ученых») провела необходимую работу по проверке. Я назвал доверие «флогистонным» понятием по этой причине, так как оно напоминает псевдоэлемент флогистон [Fuller, 1996]. В самом деле, мое общее несогласие с подобным умонастроением привело меня к доказательству того, что университеты должны заниматься «эпистемическим подрывом доверия». Вот мой первоначальный тезис:

Короче говоря, университеты функционируют как уничтожители доверия к знанию, чьи корпоративные способности к «созидательному разрушению» мешают новому знанию превращаться в интеллектуальную собственность [Fuller, 2002, p. 47; курсив оригинала].

Под корпоративными способностями я имею в виду различные имеющиеся у университета средства, гарантирующие, что люди, находящиеся в положении, позволяющем развивать новое знание, – не просто часть класса тех, кто первоначально его создал. Конечно, я имел в виду обычное преподавание, нацеленное на выражение даже наиболее сложных понятий в категориях, которые могут понять и использовать обычные студенты, что ведет к деконструкции тех сугубо исторических – или «зависимых от траектории» – путей, где инновации могут социально закоснеть, создавая, в свою очередь, отношение доверия между «экспертами» и «профанами». Но также я имел в виду и программы «позитивной дискриминации», которые специально нацелены на привлечение более широкого круга людей, чем могли бы посещать университет, если бы таких программ не было. Вместе эти две компоненты противодействуют «неофеодализму» (или, если угодно, «поиску ренты»), к которому склонно академическое производство знания и о чем обычно забывают веритисты.

Что касается основного критерия истины, выдвигаемого веритистами, а именно *надежности*, его значение зависит от определения условий – например, устройства эксперимента, – при которых ожидается тот или иной паттерн явлений. За пределами таких жестко заданных условий, то есть там, где, собственно, и наблюдается основная часть «научных контroversз», неясно, как следует классифицировать и подсчитывать отдельные эпизоды, а потому неясно, что значит «надежный». В самом деле, *STS* не только привлекли внимание к этому факту, но и продвинулись дальше, например, в работе Гарри Коллинса [Collins, 1985], где ставится

вопрос о том, возможна ли даже лабораторная надежность без своего рода сговора между исследователями. Другими словами, социальное достижение «надежного знания», по крайней мере, отчасти является выражением солидарности членов научного сообщества, то есть, если говорить прямо, смыкания рядов. Это просто несколько менее лестная характеристика того, что веритисты представляют светоносным эпистемическим процессом «формирования консенсуса» в науке.

Особенно удачный пример такой ситуации получил название «климатгейта», начавшегося со взлома хакерами британского сервера исследовательской группы климатологов в Университете Восточной Англии в 2009 г., за которым последовало несколько запросов по акту «свободного доступа к информации». Хотя, формально говоря, никаких правонарушений выявлено не было, электронные письма показали, в какой мере ученые со всего света на самом деле сговаривались, пытаясь представить данные по климатическим изменениям так, чтобы скрыть двусмысленности в интерпретациях и тем самым предупредить возможный перехват повестки силами так называемых «климатических скептиков». Наиболее естественный способ интерпретации этой ситуации состоит в том, что она показывает микропроцессы, в которых научный консенсус в обычном случае действительно буквально «фабрикуется». Тем не менее веритисты вряд ли готовы рассматривать «климатгейт» в качестве парадигмального случая «научного консенсуса». Но почему бы и нет?

Причина заключается в их отказе признать тяжелый труд и даже борьбу, неотделимую от процесса достижения коллективного соглашения по любому значимому притязанию на знание. С точки зрения веритистов, информированные люди делают одни и те же выводы на основе одних и тех же данных. Реальное социальное взаимодействие исследователей само по себе не имеет особого когнитивного веса. Оно просто закрепляет тот вывод, который в той же ситуации мог бы сделать всякий разумный индивид. Другие люди могли бы добавить какие-то данные, но они не могут изменить правила верного умозаключения. Противоположный – а именно ориентированный на постигистину – взгляд на формирование консенсуса отличается откровенно «риторическим» характером [Fuller, Collier, 2004]. Он указывает на сочетание стратегических и эпистемических соображений в той ситуации, в которой актуальное взаимодействие сторон задает параметры, определяющие границы любого возможного консенсуса. Даже Кун, который ценил консенсус в качестве связующего элемента нормальной науки, занимающейся разгадыванием загадок, хорошо понимал его риторические и даже принудительные качества, проявляющиеся в самых разных областях от педагогики до коллегиального рецензирования. Наконец, обратимся собственно к вопросу риторической власти, связанной с формированием консенсуса в науке.

Подозрения относительно наличия консенсуса какого угодно рода появились у меня уже давно. Единственная глава моей докторской диссертации, вошедшая в мою первую книгу, была посвящена именно этой теме [Fuller, 1988, ch. 9]. Двойной вопрос, который я могу задать всякому, кто желает утвердить «научный консенсус» на чем бы то ни было, состоит в следующем: *в силу какого авторитета и на каком основании* делается такое утверждение? Даже Поппер, великий апологет науки, считал научные факты не более чем конвенциями, соглашение о которых принимается в основном для того, чтобы разметить временные остановки на бесконечном коллективном пути. С точки зрения специалиста по риторике, «научный консенсус» затребован только тогда, когда научные авторитеты ощущают, что для них возникла угроза, которую невозможно устранить обычными методами коллегиального рецензирования. «Наука» в конечном счете рекламирует себя в качестве свободнейшего исследования, предполагающего толерантность ко многим расходящимся и даже противоречащим друг другу исследовательским направлениям, которые должны совмещаться с актуальными данными, сохраняя возможность для пересмотра в свете новых, полученных в дальнейшем данных. В более общем смысле наука действительно демонстрирует эту спонтанную открытость плюрализму, хотя конкретные вари-

анты, имеющиеся в наличии в данный момент, могут меняться. Конечно, некоторые направления исследований в тот или иной момент развиваются сильнее других. Для отслеживания подобных трендов можно использовать наукометрию, которая уподобляет «наблюдателя за наукой» аналитику фондового рынка. Но это логика скорее «мудрости толпы», чем «научного консенсуса», который должен казаться чем-то более авторитетным и уж наверняка менее волатильным.

Действительно, обращения к «научному консенсусу» становятся наиболее настойчивыми в случае тех вопросов, у которых есть две характеристики, возможно, всегда переплетенные друг с другом, но они в любом случае вытаскивают науку из отведенной ей зоны комфорта, зоны коллегиального рецензирования: 1) они по природе своей междисциплинарны и 2) они значимы для общественной политики. Вспомним об изменении климата, эволюции, о любом вопросе, который имеет отношение к здоровью. К «научному консенсусу» зывают в таких именно вопросах, поскольку они не сводятся к условиям «нормальной науки», в которых работает коллегиальное рецензирование. Защитнику ортодоксии диссиденты кажутся теми, кто «меняет правила науки» с той лишь целью, чтобы повысить убедительность собственных аргументов. Тогда как, с точки зрения диссидента, ортодоксия искусственно ограничивает исследование в тех случаях, когда реальность не соответствует ее дисциплинарному шаблону, а потому изменение в правилах науки, возможно, и правда становится пунктом повестки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.